

Маленькая хозяйка Большого дома

Автор:

Джек Лондон

Маленькая хозяйка Большого дома

Джек Лондон

Зарубежная классика (АСТ)

Самый поэтичный и красивый роман Джека Лондона.

История необычайной женщины – прекрасной, смелой, элегантной и удивительно чистой душевно. Когда она понимает, что ее чувства к супругу ослабевают, то делает все, чтобы сохранить их любовь. Однако в особняке, полном чудес и развлечений, появляется однажды лучший друг ее мужа – и внезапно ей становится ясно: в жизнь ее ворвалась новая страсть. Страсть, которую она готова преодолеть любой ценой – даже ценой собственной жизни...

Джек Лондон

Маленькая хозяйка Большого дома

© Перевод. В. Станевич, наследники, 2011

© Перевод. Стихи. Н. Банников, наследники, 2011

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Глава первая

Он проснулся в темноте; проснулся сразу, легко, не сделав ни одного движения, – просто открыл глаза и увидел, что еще темно. Ему не нужно было, подобно большинству людей, сначала пошарить вокруг себя, прислушаться, ощутить внешний мир, – он сразу нашел свое «я» в определенных условиях пространства и времени и без усилий продолжал повесть своей жизни, прерванную сном. Он сразу осознал себя Диком Форрестом – хозяином огромного поместья, который несколько часов назад, уже в полузабытьи, заложил спичкой страницу книги, выключил настольную лампу и уснул.

Где-то совсем рядом сочно плескался и лепетал фонтан. Издалека донесся звук – такой слабый и смутный, что его могло уловить только очень чуткое ухо; однако Дик Форрест услышал его и улыбнулся: он сразу узнал глухой, хриплый рев Короля Поло, своего лучшего быка из породы шортхорнов, трижды премированного на калифорнийских выставках в Сакраменто. Улыбка долго не сходила с лица Дика Форреста: он рисовал себе те новые победы, которые готовил своему Королю Поло, – в этом году он собирался отправить его на восток. Он докажет, что бык, рожденный и выращенный в Калифорнии, вполне может соперничать с лучшими, вскормленными кукурузой, быками штата Айова и даже с привезенными из-за моря, с их исконной родины, шортхорнами.

Улыбка погасла, Форрест потянулся в темноте к ряду кнопок над изголовьем и нажал первую. Кнопки шли в три ряда. Скрытый свет, лившийся сквозь стенки большой чаши под потолком, осветил спальню-веранду, с трех сторон затянутую тонкой медной сеткой. Четвертой стороной служила бетонная стена дома с высокими застекленными дверями.

Он надавил вторую кнопку в том же ряду, и яркий свет озарил то место на стене, где висели часы, барометр и два термометра – Фаренгейта и Цельсия. Скользя по ним взглядом, он сразу прочел их показания: время – 4.30, атмосферное давление – 29,80, нормальное для данной высоты над уровнем моря и для времени года; температура – 36° по Фаренгейту. Другим движением пальца он опять погрузил во мрак измерители времени и температуры.

От нажима на третью кнопку вспыхнула его рабочая лампа, поставленная так, чтобы свет падал сверху и сзади, не ослепляя глаз.

Первая кнопка погасила невидимую лампу под потолком; Форрест достал с ночного столика пачку гранок, закурил сигарету и, вооружившись карандашом, принялся их править.

Вся обстановка спальни говорила о том, что здесь живет человек, привыкший работать. Каждая вещь в ней была целесообразна, вместе с тем на всем лежал отпечаток отнюдь не спартанского комфорта. Серая эмалированная кровать была под цвет серой стены. В ногах кровати, вместо теплого пледа, лежал халат из волчьих шкур с висячими хвостами.

Ночные туфли стояли на пушистом ковре из меха горной козы.

На ночном столике высились аккуратные стопки книг, журналы, блокноты и еще оставалось место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. На подвижной, прикрепленной к стене подставке стоял диктофон. Со стены, под барометром и термометрами, из круглой деревянной рамки смотрело смеющееся женское личико. И на той же стене, между рядами электрических кнопок и распределительным щитом, висела открытая кобура, из которой торчала рукоятка автоматического «Кольта-44».

В шесть часов, минута в минуту, когда серый утренний свет начал просачиваться сквозь проволочную сетку, Дик Форрест, не поднимая глаз от корректуры, протянул правую руку и нажал одну из кнопок во втором ряду. Пять минут спустя на веранду неслышно вошел китаец в мягких туфлях. Он держал в руках начищенный медный подносик, на котором стояли чашка с блюдцем, крошечный серебряный кофейник и такой же молочник.

– С добрым утром, О-Дай, – приветствовал его Дик Форрест, улыбаясь не только губами, но и глазами.

– С добрым утром, хозяин, – ответил О-Дай; он освободил на столе место для подноса, налил в чашку кофе и сливки.

Увидев, что хозяин уже подносит одной рукой чашку к губам, а другой продолжает делать пометки на корректуре, О-Дай поднял с пола обшитый

кружевами воздушный розовый чепчик и удалился. Он скрылся беззвучно, исчез, как тень, в открытую застекленную дверь.

В шесть тридцать, минута в минуту, он вернулся с подносом побольше. Дик Форрест отложил гранки, достал книгу, озаглавленную: «Промысловое разведение лягушек», – и приготовился завтракать. Завтрак был простой, но сытный: снова кофе, полгрейпфрута, два яйца всмятку, сбитых в стакане с кусочком масла и очень горячих, и ломтик в меру поджаренного бекона; он знал, что это мясо от его свиньи, и притом домашнего копчения.

К этому времени лучи солнца уже хлынули через сетку и залили кровать. С наружной стороны сетки сидело несколько первых весенних мух, ошалевших от ночного холода. Завтракая, Форрест следил за тем, как на них охотятся хищные желтобрюхие осы. Более выносливые и менее чувствительные к заморозкам, чем пчелы, они летали перед сеткой и накидывались на ошалевших мух. Эти воздушные разбойники в желтых камзолах свирепо жужжали и, действуя почти без промаха, схватывали свою жертву и улетали с ней. Последняя муха исчезла раньше, чем Форрест сделал последний глоток кофе и, заложив спичкой книгу о лягушках, принялся опять за корректуру.

Через некоторое время он услышал прозрачную, нежную трель жаворонка – этого первого утреннего певца. Форрест оторвался от работы и взглянул на часы: они показывали семь. Он отложил гранки, взялся за телефон и, нажимая привычной рукой кнопки на распределительном щите, вступил в разговор с целым рядом лиц.

– Алло, О-Пой, – обратился он к первому. – Что мистер Тэйер, встал? Ладно. Не будите. Едва ли он будет завтракать в постели, но вы все-таки справьтесь...

Хорошо, и покажите ему, как пускать горячую воду... Может быть, он не знает... Да, да, хорошо... И достаньте как можно скорее еще одного боя. Как только наступает весна, съезжаются гости... Конечно. Словом, на ваше усмотрение. До свидания.

– Мистер Хэнли?.. Да, – начал он вторую беседу с помощью второго контакта, – я думал насчет Бьюкэйской плотины. Мне нужна смета на доставку гравия и камней... Да, вот именно... Я считаю, что ярд гравия обойдется примерно на шесть или десять центов дороже щебня. Ужасно мешает подвозу этот последний

крутой склон холма... Разработайте смету... Нет, раньше чем через две недели мы начать не сможем... да, да, если новые тракторы подоспеют вовремя, они освободят лошадей от пахоты; но не забудьте, что тракторы придется еще дать на проверку... Нет. Об этом вам придется поговорить с мистером Эверэном. До свидания.

Третья беседа началась так:

– Мистер Досон?.. Ха! Ха!.. У меня на веранде сейчас тридцать шесть градусов. В низинах, наверно, все бело от инея. Но это, пожалуй, последний утренник... Да, поклялись, что тракторы будут доставлены еще два дня назад... Позвоните железнодорожному агенту... Кстати, поговорите за меня и с мистером Хэнли. Я забыл ему сказать, чтобы вместе со второй партией мухоловок он пустил в дело и крысоловки. Да, сейчас же. Сегодня штук двадцать мух грелись на моей сетке... Конечно. Прощайте.

Покончив с разговорами, Форрест быстро встал, сунул ноги в туфли и, как был, в пижаме, вошел в дом через открытую дверь, чтобы принять ванну, уже приготовленную для него китайцем О-Даем. Минут через десять Форрест, вымытый и выбритый, снова лежал в постели, погрузившись в книгу о лягушках, а пунктуальный О-Дай, все исполнявший минута в минуту, массировал ему ноги.

У Дика были сильные, красивые ноги, и сам он был статный и стройный, рост – пять футов десять дюймов, вес – сто восемьдесят фунтов. Эти ноги могли немало порассказать о их владельце: левое бедро пересекал рубец дюймов в десять длиной; поперек левой лодыжки, от икры до пятки, также шло несколько шрамов величиной с монету. Когда О-Дай посильнее разминал левое колено, Форрест невольно морщился. И на правой голени темнело несколько небольших шрамов, а глубокий рубец, как раз под коленом, доходил почти до кости. На бедре виднелся след застарелого ранения шириной в три дюйма, испещренный точками от снятых швов.

Внезапно со двора донеслось веселое ржание. Форрест поспешно заложил спичкой нужную страницу лягушачьей книги, перевернулся на бок и посмотрел в ту сторону, откуда донеслось ржание, в то время как О-Дай надевал хозяину носки и башмаки. Внизу на дороге, среди лиловых кистей ранней сирени, появился живописный ковбой верхом на крупном жеребце; в золотых утренних лучах жеребец казался красновато-коричневым; он шел, роняя клочья белоснежной пены, гордо взмахивая гривой, поводил вокруг блестящими

глазами, и трубный звук его любовного призыва разносился по зеленеющей равнине.

Дика Форреста в то же мгновение охватила радость и тревога: радость при виде этого великолепного животного, выступавшего между кустами сирени, – и тревога, как бы его ржание не разбудило ту молодую женщину, чье смеющееся личико глядело на него из деревянной рамки на стене. Он бросил быстрый взгляд через двор шириной в двести футов на выступавшее вперед крыло дома, находившееся еще в тени. Шторы на окнах ее веранды-спальни были спущены. Они не шевельнулись. Жеребец снова заржал, но он спугнул только стайку диких канареек, – они поднялись из цветущих кустов, которыми был обсажен двор, точно брызнул вверх сноп золотисто-зеленых брызг, брошенный восходящим солнцем.

Следя за жеребцом, Дик Форрест рисовал себе его прекрасное и сильное потомство, этих жеребят без малейшего порока. А когда лошадь скрылась среди сирени, Дик, как обычно, сейчас же возвратился к окружающей его действительности и спросил слугу:

– Ну, как новый бой, О-Дай? Привыкает?

– Мне кажется, он хороший бой, – ответил китаец. – Совсем мальчишка. Все ему ново. Очень медленный. Но ничего, толк выйдет.

– Да? Почему ты так думаешь?

– Я бужу его третье или четвертое утро. Спит, как маленький. Проснулся – улыбается. Совсем как вы. Очень хорошо.

– А разве я улыбаюсь, когда проснусь? – спросил Форрест.

О-Дай усердно закивал.

– Уж сколько раз, сколько лет я бужу вас. И всегда, как глаза откроете, так они уже улыбаются, губы улыбаются, лицо улыбается, весь вы улыбаетесь. Сразу. Это очень хорошо. Если человек так просыпается, значит, ума много. Я знаю. И новый бой – умный. Увидите, скоро-скоро выйдет из него толк. Его зовут Чжоу

Гэн. Как вы будете называть его здесь?

– А какие имена у нас уже есть? – спросил он.

– О-Рай, Ой-Ой, Ой-Ли, потом я – О-Дай, – перечислял китаец скороговоркой. – О-Рай говорит, надо назвать нового боя...

Он смолк и лукаво посмотрел на своего хозяина.

Форрест кивнул.

– О-Рай говорит, пусть новый бой будет О-Черт!

– Охо! Здорово! – расхохотался Форрест. – Я вижу, О-Рай шутник! Имя хорошее, только оно не подойдет. А что скажет миссис? Надо придумать что-нибудь другое.

– О-Хо тоже очень хорошее имя.

В ушах у Форреста все еще стояло его собственное восклицание, и он понял, откуда китаец взял это имя.

– Хорошо. Пусть называется О-Хо.

О-Дай наклонил голову, неслышно выскользнул в дверь и тут же вернулся с остальной одеждой своего хозяина, помог ему надеть нижнюю и верхнюю сорочку, набросил на шею галстук, который тот завязывал сам, и, опустившись на колени, затянул краги и нацепил шпоры; затем подал широкополую фетровую шляпу и хлыст. Хлыст был особый, индейского плетения, – он состоял из узких полосок сыромятной кожи, в его рукоятку было вделано десять унций свинца, и он висел на ременной петле, которую Дик надел на руку.

Однако Форрест еще не мог уйти из своей комнаты: О-Дай протянул ему несколько писем – их привезли со станции вчера вечером, когда хозяин уже лег. Надорвав правую сторону конвертов, Форрест быстро просмотрел письма и задержался только на одном. Он постоял, насупившись, потом быстро подошел к диктофону, отвел его от стены, нажал кнопку, поворачивавшую цилиндр, и

поспешно начал диктовать, не делая никаких пауз, чтобы подыскать нужное слово или точнее выразить свою мысль:

«В ответ на ваше письмо от четырнадцатого марта тысяча девятьсот четырнадцатого года должен сообщить, что я весьма огорчен известием о разразившейся у вас свиной холере. Огорчен я и тем, что вы сочли возможным возложить на меня ответственность за это. А также тем, что боров, которого мы прислали вам, окошел.

Могу вас заверить, что холеры у нас здесь не наблюдается, эта болезнь не появлялась уже в течение восьми лет, за исключением двух случаев, когда два года тому назад ее завезли к нам с Востока; но, согласно нашему правилу, заболевшие свиньи тут же были изолированы и уничтожены раньше, чем зараза перекинулась на наши стада.

Должен заявить вам, что ни в том, ни в другом случае я не могу возложить на продавцов вину за присылку мне больного скота. Как вам известно, инкубационный период свиной холеры продолжается девять дней; проверив дату их погрузки, я убедился в том, что при отправке они были совершенно здоровы.

Разве вам никогда не приходило в голову, что железные дороги чрезвычайно способствуют распространению холеры? Слыхали вы когда-нибудь об окурировании или дезинфекции вагона, в котором ехал больной скот? Сопоставьте даты: во-первых, дату отправки борова мной; во-вторых, время доставки борова вам и, в-третьих, дату появления первых признаков болезни. Вы сообщаете, что по случаю весенних размывов боров был в пути пять дней. Первые симптомы появились только на седьмой день после его доставки вам. Следовательно, прошло двенадцать дней после того, как он был мною отправлен.

Нет. Я с вами не согласен: я не могу нести ответственность за бедствие, постигшее ваши стада. Кроме того, можете справиться в ветеринарном управлении штата, есть ли в моем имении холера.

С уважением...»

Глава вторая

Покинув свою спальню-веранду, Форрест прошел через комфортабельную гардеробную с диванами в оконных нишах, большими ларями и огромным камином, возле которого была дверь в ванную, и направился в комнату, служившую конторой и обставленную соответствующим образом:

письменные столы, диктофоны, картотеки и книжные шкафы, а также полки, достигающие до самого потолка и разделенные на клетки и отделения.

Подойдя к книжным полкам, Форрест нажал кнопку; несколько полок повернулось, и открылась узенькая винтовая лестница; он стал осторожно спускаться, стараясь не зацепить шпорами за полки, автоматически возвращавшиеся на место позади него.

Под лестницей другая кнопка и поворот других полок открыли перед ним вход в длинную низкую комнату, уставленную книгами от пола до потолка. Форрест прямо направился к одной из полок и сразу опустил руку на корешок книги, которая ему понадобилась. Полистав ее, он тут же отыскал нужное место, удовлетворенно кивнул, как бы найдя то, что подтверждало его мысли, и поставил книгу обратно.

Отсюда дверь вела в крытый ход из квадратных бетонных столбов, соединенных поперечными брусками из калифорнийской секвойи вперемежку с более тонкими брусками из того же дерева, покрытыми шероховатой, морщинистой корой, похожей на красноватый бархат.

Судя по тому, что он сделал несколько сот футов, огибая бесконечные стены огромного бетонного дома, было ясно, что путь он выбрал не самый короткий. Под старыми дубами, у длинной изглоданной коновязи, где вытоптаный копытами гравий свидетельствовал о множестве побывавших здесь лошадей, он увидел кобылу гнедой, вернее, золотисто-коричневой масти. В косых лучах солнца, падавших под навес из листьев, ее холеная шерсть отливала атласным блеском. Все ее существо, казалось, было полно огня и жизни. Сложением она напоминала жеребца, а бежавшая вдоль спинного хребта узенькая темная полоска говорила о многих поколениях мустангов.

– Ну, как сегодня настроение у Фурии? – спросил Форрест, снимая с ее шеи уздечку.

Лошадь заложила назад свои ушки, самые маленькие, какие только могут быть у лошади, показывавшие, что она – дитя любви горячих чистокровных жеребцов и диких горных кобылиц, и сердито оскалила зубы, сверкая злыми глазами.

Когда Форрест вскочил в седло, она метнулась в сторону и попыталась сбросить седока, а потом заплясала по усыпанной гравием дорожке. Вероятно, ей удалось бы подняться на дыбы, если бы не мартингал – этот ремень удерживал лошадь от слишком резких движений и вместе с тем предохранял нос седока от сердитых взмахов ее головы.

Дик настолько привык к этой кобыле, что почти не замечал ее выходок. То чуть прикасаясь поводьями к ее выгнутой шее, то слегка щекоча ей бока шпорами или нажимая шенкелем, он почти бессознательно заставлял ее идти в нужном направлении. Один раз, когда она опять завертелась и заплясала, он на миг увидел Большой дом. Да, дом был велик, но благодаря своей архитектуре казался больше, чем на самом деле. Он вытянулся по фасаду на восемьдесят футов в длину, однако в нем немало места занимали галереи с бетонными стенами и черепичными крышами, соединявшие между собой отдельные части здания. Там были внутренние дворики, крытые ходы и переходы, и вся постройка, со своими стенами, прямоугольными выступами и нишами, как бы вырастала из гущи зелени и цветов.

Большой дом, несомненно, носил на себе отпечаток испанского стиля, но не принадлежал к тому испано-калифорнийскому типу зданий, который был занесен сюда через Мексику лет сто тому назад и на основе которого позднейшие архитекторы создали так называемый испано-калифорнийский стиль. Архитектуру Большого дома при всей ее разнородности скорее можно было определить как испано-мавританскую, хотя находились знатоки, горячо возражавшие и против такого определения.

Просторен, но не суров, красив, но не претенциозен – таково было общее впечатление, которое производил Большой дом. Его длинные горизонтальные линии, прерываемые лишь вертикальными линиями выступов и ниш, всегда прямоугольных, придавали ему почти монастырскую простоту; и только ломаная линия крыши оживляла некоторое его однообразие.

Однако эта низкая, словно расползшаяся постройка не казалась приземистой: множество нагроможденных друг на друга квадратных башен и башенок делали ее в достаточной мере высокой, хотя и не устремленной ввысь. Основной чертой Большого дома была прочность. Его хозяева могли не бояться землетрясений. Казалось, он должен выстоять тысячу лет. Добротный бетон его стен был покрыт слоем не менее добротной штукатурки, выкрашенной кремовой краской. Такое однообразие окраски могло быть утомительным для глаз, если бы оно не нарушалось теплыми красными тонами плоских крыш из испанской черепицы.

В тот миг, когда горячая лошадь заплясала под ним и Дик Форрест охватил одним взглядом весь Большой дом, его глаза озабоченно задержались на длинном флигеле по ту сторону двора в двести футов шириной; громоздившиеся друг над другом башенки флигеля казались розовыми в лучах утреннего солнца, а спущенные шторы на окнах спальни под ними показывали, что его жена еще спит.

Вокруг усадьбы с трех сторон тянулись низкие, покатые, мягко очерченные холмы с короткой травой и оградами: там были пастбища. Холмы постепенно переходили в более высокое предгорье с покрытыми лесом склонами, а за ним следовала еще более крутая гряда величественных гор. С четвертой стороны горизонт не заслоняли ни горы, ни холмы. Там, в туманной дали, местность переходила в необозримые низменности, конца краю которым не было видно даже в этом прозрачном и морозном утреннем воздухе.

Фурия под Форрестом захрапела. Он сжал ей шенкелями бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему, топоча копытцами по гравию, текла река серебристо поблескивающего шелка. Он сразу узнал стадо своих премированных ангорских коз, у каждой из которых была своя родословная и своя характеристика. Их было около двухсот.

Благодаря тому, что этих породистых коз осенью не стригли, их сверкающая шерсть, ниспадавшая волной даже с самых молодых животных, была тоньше, чем волосы новорожденного дитяти, белее, чем волосы человеческого альбиноса, и длиннее обычных двенадцати дюймов, а шерсть лучших из них, доходившая до двадцати дюймов, красилась в любые цвета и служила преимущественно для женских париков; за нее платили баснословные деньги. Форреста пленяла красота идущего ему навстречу стада. Дорога казалась лентой жидкого серебра, и в нем драгоценными камнями блестели похожие на глаза кошек желтые козы глаза, следившие с боязливым любопытством за ним

и его нервной лошадей. Два пастуха-баска шли за стадом. Это были коренастые, плечистые и смуглые люди с черными глазами и выразительными лицами, на которых лежал отпечаток задумчивой созерцательности. Увидев хозяина, пастухи сняли шапки и поклонились. Форрест поднял правую руку, на которой, покачиваясь, висел хлыст, и прикоснулся к краю своей широкополой фетровой шляпы.

Лошадь опять заплясала и завертелась под ним; он слегка натянул повод и тронул ее шпорами, все еще не в силах оторвать взгляд от этих четвероногих клубков шелка, заливавших дорогу серебристым потоком. Форрест знал, почему они появились возле усадьбы: наступало время окота, когда их уводили с пастбищ и помещали в особые загоны, где их ждали обильный корм и заботливый уход. Глядя на них, Дик представил себе все лучшие турецкие и южноафриканские породы и нашел, что его стадо вполне могло выдержать сравнение с ними. Хорошее, отличное стадо!

Он поехал дальше. Со всех сторон раздавалось жужжание машин, разбрасывающих удобрение. Вдали, на отлогих низких холмах, виднелось множество упряжек, парных и троечных – это его ширские кобылы пахали и перепаживали плугами зеленый дерн горных склонов, обнажая темно-коричневый, богатый перегноем, жирный чернозем, настолько рыхлый и полный животворных сил, что он как бы сам рассыпался на частицы мелкой, точно просеянной земли, готовой принять в себя семена. Эта земля была предназначена для посева кукурузы и сорго на силос. На других склонах посеянный раньше ячмень уже доходил до колен и виднелись дружные всходы клевера и канадского гороха.

Все эти поля, большие и малые, были обработаны так тщательно и целесообразно, что порадовали бы сердце самого придирчивого знатока. Ограды и заборы были настолько плотны и высоки, что являлись надежной защитой и от свиней и от рогатого скота, а в их тени не росло никаких сорных трав. Низины были засеяны люцерной; на некоторых зеленели озими, другие, согласно требованиям севооборота, готовились под яровые; а на тех, которые лежали ближе к загонам для маток, паслись сытые шропширские и французские меринсы или рылись в земле громадные белые племенные свиньи, при виде которых глаза Дика радостно блеснули.

Он проехал через некоторое подобие деревни, где не было, однако, ни гостиниц, ни лавок. Домики типа бунгало были изящной и прочной стройки и радовали

глаз; каждый стоял в саду, где уже цвели ранние цветы и даже розы, презревшие опасность последних утренников. Среди клумб бегали и резвились уже проснувшиеся дети, а иные, заслышав зов матерей, неохотно уходили завтракать.

Огибая Большой дом на расстоянии полумили, Форрест проехал мимо вытянувшихся в ряд мастерских. Он остановился возле первой и заглянул внутрь. Один из кузнецов работал у горна. Другой, склонившись над передней ногой уже немолодой кобылы, весившей тысячу восемьсот фунтов, стачивал наружную сторону копыта, чтобы лучше пригнать подкову. Форрест мельком взглянул на кузнеца и на его работу, поклонился и поехал дальше. Проехав около ста футов, он остановил лошадь, вытащил из заднего кармана записную книжку и что-то в нее занес.

По пути он заглянул еще в несколько мастерских – малярную, слесарную, столярную, в гараж. Когда он стоял возле столярной, мимо него промчалась необычная автомашина – полугрузовик-полулегковая – и, свернув на большую дорогу, понеслась к станции железной дороги, находившейся в восьми милях от имения. Он узнал грузовик, забиравший каждое утро с молочной фермы ее продукцию.

Большой дом являлся как бы душой и центром всего имения. На расстоянии полумили его окружало кольцо хозяйственных построек. Не переставая раскланиваться со своими служащими, Дик Форрест проехал галопом мимо молочной фермы. Это был целый городок с силосными башнями и подвесной дорогой, по которой двигалось множество транспортеров, автоматически выгружавших удобрения на площадки машин. Некоторые служащие, ехавшие кто верхом, кто в повозках, останавливали Форреста, желая посоветоваться с ним; по всему было видно, что это сведущие, деловые люди. То были экономеры и управляющие отдельными отраслями хозяйства; говоря с хозяином, они были так же немногоречивы, как и он. Последнего из них, сидевшего на грациозной молодой трехлетке – дикой и прекрасной, как может быть прекрасна еще не вполне объезженная лошадь арабской крови – и вознамерившегося ограничиться только поклоном, Дик Форрест сам остановил.

– С добрым утром, мистер Хеннесси, – сказал он. – Скоро она будет готова для миссис Форрест?

– Подождите еще недельку, – ответил Хеннеси. – Она теперь объезжена, и именно так, как этого хотелось миссис Форрест; но лошадь утомлена и нервничает, – хорошо бы дать ей несколько дней, чтобы совсем привыкнуть и успокоиться.

Форрест кивнул, и Хеннеси, его ветеринар, продолжал:

– Кстати, у нас есть два возчика, они возят люцерну... Я полагаю, их следует рассчитать.

– А что такое?

– Один из них новый, Хопкинс, демобилизованный солдат; с мулами он, может быть, и умеет обращаться, но в рысаках ничего не смыслит.

Форрест снова кивнул.

– Другой служит у нас уже два года, но он стал пить и похмелье свое вымещает на лошадях...

– Ага, Смит – этакий американец старого типа, бритый, левый глаз косит? – перебил его Форрест.

Ветеринар кивнул.

– Я наблюдал за ним... Сначала он хорошо работал, а теперь почему-то закуролесил... Конечно, пошлите его к черту. И этого тоже, как его... Хопкинса, гоните вон. Кстати, мистер Хеннеси, – Форрест вынул записную книжку и, оторвав недавно исписанный листок, скомкал его, – у вас там новый кузнец. Ну что, как он кует лошадей?

– Он у нас слишком недавно, я еще не успел к нему присмотреться.

– Так вот: гоните его вместе с теми двумя. Он нам не подходит. Я только что видел, как он, чтобы получше пригнать подкову старухе Бесси, соскоблил у нее чуть ли не полдюйма с переднего копыта.

– Нашел способ!

– Так вот. Отправьте его ко всем чертям, – повторил Форрест и, слегка тронув лошадь, пустил ее по дороге; она с места взяла в карьер, закидывая голову и пытаясь сбросить его.

Многое из того, что Форрест видел, нравилось ему. Глядя на жирные пласты земли, он даже пробормотал: «Хороша земля, хороша!» Кое-что ему, однако, не понравилось, и он тотчас же сделал соответствующие пометки в своей записной книжке.

Замыкая круг, центром которого был Большой дом, Форрест проехал еще с полмили до группы стоящих отдельно барачков и загонов. Это была больница для скота – цель его поездки. Здесь он нашел только двух телок с подозрением на туберкулез и великолепного джерсейского бора, чувствовавшего себя как нельзя лучше. Боров весил шестьсот фунтов; ни блеск глаз, ни живость движений, ни лоснящаяся щетина не давали оснований предположить, что он болен. Боров недавно прибыл из штата Айова и должен был, по установленным в имени правилам, выдержать определенный карантин. В списках торгового товарищества он значился как Бургесс Первый, двухлетка, и обошелся Форресту в пятьсот долларов.

Отсюда Форрест свернул на одну из тех дорог, которые расходились радиусами от Большого дома, догнал Креллина, своего свиновода, дал ему в течение пятиминутного разговора инструкции, как содержать в ближайшие месяцы Бургесса Первого, и узнал, что его великолепная первоклассная свиноматка Леди Айлтон, премированная на всех выставках от Сиэтла до Сан-Диего и удостоенная голубой ленты, благополучно разрешилась одиннадцатью поросятами. Креллин рассказал, что просидел возле нее чуть не всю ночь и едет теперь домой, чтобы принять ванну и позавтракать.

– Я слышал, что ваша старшая дочь окончила школу и собирается поступить в Стэнфордский университет? – спросил Форрест, сдержав лошадь, которую он уже хотел пустить галопом.

Креллин, молодой человек лет тридцати пяти, рано созревший, оттого что давно стал отцом, и еще юный благодаря честной жизни и свежему воздуху, был польщен вниманием хозяина; он слегка покраснел под загаром и кивнул.

– Обдумайте это хорошенько, – продолжал Форрест. – Вспомните-ка всех известных вам девушек, окончивших колледж или учительский институт: многие ли работают по своей специальности? А сколько в течение ближайших же двух лет по окончании курса повыходили замуж и обзавелись собственными младенцами?

– Но Елена относится к учению очень серьезно, – возразил Креллин.

– А помните, когда мне удаляли аппендикс, – снова заговорил Форрест, – за мной ухаживала одна умелая сиделка – самая прелестная девушка, какая когда-либо ходила по земле на прелестных ножках. Она всего за шесть месяцев до этого получила свидетельство квалифицированной сиделки. И не прошло и четырех месяцев, как мне пришлось послать ей свадебный подарок. Она вышла замуж за агента автомобильной фирмы. С тех пор она все время кочует по гостиницам и ни разу не имела возможности применить свои знания, тем более что и детей они не завели. Правда, теперь у нее опять появились надежды... Но то ли это будет, то ли нет, а пока она и так совершенно счастлива. К чему же все ее учение?..

Как раз в это время мимо них прошел пустой удобритель, и Креллину пришлось отступить, а Форресту отъехать к самому краю дороги. Форрест с удовольствием оглядел запряженную в удобритель рослую, удивительно пропорционально сложенную кобылу, многочисленные премии которой, так же как и премии ее предков, потребовали бы особого эксперта, чтобы их перечислить и классифицировать.

– Посмотрите на Принцессу Фозрингтонскую, – заметил Форрест, указывая на лошадь, радовавшую его взоры. – Вот настоящая производительница. Только случайно, благодаря селекции во многих поколениях, стала она животным, приспособленным для перевозки тяжестей. Но не это в ней главное: главное то, что она производительница. И для наших женщин в большинстве случаев самое главное – любовь к мужчине и материнство, к которому они предназначены природой. В биологии нет никаких оснований для всей этой современной женской кутерьмы из-за работы и политических прав.

– Но есть основания экономические, – возразил Креллин.

– Несомненно, – согласился Форрест и продолжал: – Наш промышленный строй не дает женщинам возможности выйти замуж и заставляет их работать. Но не забудьте, что промышленные системы приходят и уходят, а законы биологии вечны.

– В наше время одной семейной жизнью молодых женщин не удовлетворишь, – продолжал настаивать Креллин. Дик Форрест недоверчиво засмеялся.

– Ну, не знаю! – сказал он. – Возьмем хотя бы вашу жену: получила диплом, да еще университетский по факультету древних языков! А зачем ей это нужно? У нее два мальчика и три девочки, если не ошибаюсь. А вашей невестой она стала – помните, вы говорили? – еще за полгода до окончания курса...

– Так-то так, но... – настаивал Креллин, хотя в его глазах мелькнуло что-то, показывавшее, что он согласен со своим хозяином, – во-первых, это было пятнадцать лет назад, а во-вторых, мы отчаянно влюбились друг в друга. Чувство было сильнее нас. Тут, я не спорю, вы правы. Она мечтала о великих деяниях, а я мог, в лучшем случае, рассчитывать на деканство в сельскохозяйственном колледже. И все-таки чувство пересилило, и мы поженились. Но ведь с тех пор прошло целых пятнадцать лет, а за эти годы в жизни, в стремлениях, в идеалах нашей женской молодежи изменилось очень многое.

– Не верьте этому, мистер Креллин, не верьте! Посмотрите статистику. То, о чем вы говорите, случайно и очень относительно. Каждая женщина была и останется женщиной прежде всего. Пока наши девочки будут играть в куклы и любоваться на себя в зеркало, женщина будет тем, чем была всегда: во-первых, матерью, во-вторых, подругой мужчины, женой. Это, повторяю, подтверждается статистикой. Я следил за судьбою женщин, окончивших учительский институт. Не забудьте, что те из них, кто выходит замуж до окончания курса, исключаются из института. Но и те, кто успевает окончить его, преподают в среднем не больше двух лет. А если принять во внимание, что многие из кончающих некрасивы или незадачливы и обречены судьбой оставаться старыми девами и всю жизнь преподавать, то срок работы тех, кто выходит замуж, еще сократится.

– И все-таки женщина, даже девочка, всегда сделает все по-своему, наперекор мужчине, – пробормотал Креллин, пасуя перед цифрами, приведенными Форрестом, и решив на досуге изучить их.

– Значит, ваша дочка поступит в университет, – рассмеялся Форрест, готовясь пустить лошадь галопом, – а вы, и я, и все мужчины до скончания века будут позволять женщинам делать все, что им вздумается?

Провожая взглядом быстро уменьшавшуюся фигуру хозяина и его лошади, Креллин улыбнулся. Он подумал: «А где же ваши собственные ребята, мистер Форрест?» – и решил за утренним кофе рассказать жене об этом разговоре.

Прежде чем вернуться к Большому дому, Дик Форрест остановился еще раз.

Человека, которого он окликнул, звали Менденхоллом; это был управляющий конюшнями и специалист по пастбищам. Про него говорили, что он знает в имени не только каждую травинку с той минуты, как появился росток, но и высоту травинки.

По знаку Форреста Менденхолл остановил пару трехлеток, которых он объезжал в пароконной двуколке.

Окликнул же его Форрест после того, как внимательно взгляделся в северный конец долины Сакраменто: там на много миль тянулась волнистая линия холмов, озаренных солнцем и уже покрытых яркой, свежей зеленью.

Происшедший затем разговор был краток и свелся к немногосложным вопросам и ответам. Они давно научились понимать друг друга. Речь шла о травах, о зимних дождях и возможности поздних весенних дождей. Уломинались речки – Литтл-Койот и Лос-Кватос, холмы Йоло и Миримар, а также Биг-Бэзин, Раунд-Вэллей и горные кряжи Сан-Ансельмо и Лос-Банос. Обсуждались теперешние, прошлые и будущие передвижения стад и гуртов, надежды на травы, посеянные на горных пастбищах, производился приблизительный подсчет сена, оставшегося в отдаленных сараях, укрытых в горных долинах, где скот зимовал и кормился.

Под дубами, у коновязи, Форресту не пришлось самому возиться с Фурией. Подбежавший конюх принял ее. Форрест на ходу бросил несколько слов относительно Дадди, выездной лошади, и вскоре его шпоры зазвенели на крыльце дома.

Глава третья

Открыв тяжелую тесовую дверь, обитую железными гвоздями, Форрест вошел в один из флигелей Большого дома. И дверь и помещение за ней, с бетонным полом и многочисленными дверями, напоминали средневековую тюремную башню. Одна из них распахнулась, на пороге показался китаец в белом фартуке и крахмальном колпаке, а за ним следом вырвался глухой гул динамо-машины. Этот гул и отвлек Форреста от его цели. Он остановился и, придерживав дверь, заглянул в освещенную электрическими лампами прохладную бетонированную комнату, где стоял длинный стеклянный холодильник со стеклянными полками, соединенный с машиной для изготовления искусственного льда и с динамо. На полу в засаленном рабочем комбинезоне сидел на корточках весь измазанный грязью человек. Форрест кивнул ему.

- Что-нибудь не ладится, Томсон?

- Не ладилось, - последовал краткий исчерпывающий ответ.

Форрест закрыл дверь и пошел по длинному, словно туннель, коридору. Узкие окна, похожие на бойницы средневекового замка, пропускали скудный свет. Другая дверь привела его в длинную низкую комнату с бревенчатым потолком; камин был так велик, что в нем можно было бы зажарить целого быка. На рдеющих углях ярко пылал толстый пень. В комнате стояли два бильярда, несколько карточных столов, небольшая стойка с напитками, а по углам - кресла и диваны. Два молодых человека, натиравшие мелом свои кии, ответили на приветствие Форреста.

- С добрым утром, мистер Нэйсмит, - весело обратился Форрест к одному из них. - Набрали еще материал для «Газеты скотовода»?

Нэйсмит, молодой человек лет тридцати, в пенсне, смущенно улыбнулся и, подмигнув, указал на своего товарища: - Да вот Уэйнрайт вызвал меня...

- Другими словами, Льют и Эрнестина продолжают сладко спать! - засмеялся Форрест.

Уэйнрайт хотел ответить на шутку хозяина, но не успел: тот уже отошел от него, на ходу бросив Нэйсмиту через плечо:

– Хотите ехать со мной в половине двенадцатого? Мы с Тэйером отправляемся в машине смотреть шропширов. Ему нужны бараны, десять вагонов; и для вас, наверно, найдется подходящий материал по части вывоза скота в штат Айдахо. Захватите фотоаппарат. Вы с Тэйером нынче утром виделись?

– Он шел завтракать, как раз когда мы уходили из столовой, – вмешался Берт Уэйнрайт.

– Если увидите его, скажите, чтобы он был готов к половине двенадцатого. Тебя, Берт, я не приглашаю... из сострадания: к тому времени девицы наверняка встанут.

– Возьми с собой хоть Риту! – жалобно попросил Берт. – Боюсь, что не смогу, – ответил Форрест уже в дверях, – мы едем по делам. Да и Риту с Эрнестиной, как тебе известно, водой не разольешь.

– Вот мне и хотелось, чтобы это хоть раз случилось, – усмехнулся Берт.

– Удивительно! Братья почему-то никогда не ценят своих сестер, – заметил Форрест. – Мне всегда казалось, что Рита очень славная сестренка. Чем она тебе не угодила?

Не дожидаясь ответа, он закрыл за собою дверь, и звон его шпор донесся из коридора, а затем с витой лестницы. Поднимаясь по ее широким бетонным ступеням, он услышал наверху звуки рояля и, привлеченный ритмом веселого танца и взрывами смеха, заглянул в светлую комнату, всю залитую солнцем. За роялем сидела молодая девушка в розовом кимоно и утреннем чепчике, а две других, тоже в кимоно, исполняли какой-то фантастический танец: его не изучали ни в каких танцклассах, и он отнюдь не предназначался для мужских глаз.

Девушка, сидевшая за роялем, сразу увидела Форреста, подмигнула ему и продолжала играть. Танцующие заметили его лишь через несколько минут. Они взвизгнули, смеясь, упали друг другу в объятия, и музыка оборвалась. Все трое были сильные, молодые и здоровые, и при виде их в глазах Форреста

засветилось такое же удовольствие, какое светилось в них, когда он смотрел на Принцессу Фозрингтонскую.

Начались взаимные насмешки и поддразнивания, как бывает обычно, когда соберется молодежь.

– Я здесь уже пять минут, – уверял их Дик Форрест.

Обе танцовщицы, желая скрыть свое смущение, заявили, что сильно сомневаются в этом, и стали приводить примеры его будто бы общеизвестной лживости. Сидевшая за роялем Эрнестина, сестра его жены, утверждала, наоборот, что уста его, как всегда, глаголют истину, что она видела его с первой же минуты, как он вошел, и что, по ее расчетам, он смотрел на них гораздо дольше, чем пять минут.

– Ну, как бы там ни было, – прервал он их болтовню, – Берт, этот невинный младенец, даже не подозревает, что вы уже встали.

– Встали, да... но не для него! – заявила одна из танцевавших девушек, похожая на веселую юную Венеру. – И не для вас тоже! А потому убирайтесь-ка отсюда, мой мальчик, марш!

– Послушайте, Льют, – сурово начал Форрест. – Хоть я и дряхлый старец, а вам только что исполнилось восемнадцать лет – ровно восемнадцать – и вы случайно приходите мне свояченицей, но из этого вовсе не следует, что вам можно надо мной куражиться. Не забудьте, и я должен констатировать этот факт, как сие не прискорбно для вас, исключительно в интересах Риты, – не забудьте, что за истекшие десять лет мне приходилось награждать вас шлепками гораздо чаще, чем вам теперь хочется признать. Правда, я уже не так молод, как был когда-то, но... – он пощупал мышцы на правой руке и сделал вид, что хочет засучить рукава, – но еще не совсем развалина; и если вы меня доведете...

– Что будет, если доведу? – вызывающе подхватила Льют.

– Если вы меня доведете... – пробормотал он угрожающе. – Если... Кстати, я должен, к моему прискорбию, вам заметить, что у вас чепчик набок. Кроме того, он мне кажется вообще не слишком удачным произведением искусства. Я сшил бы вам чепчик гораздо больше к лицу, даже зажмурившись, даже во сне и

даже... если бы у меня была морская болезнь.

Льют задорно качнула белокурой головкой, взглянула на подруг, как бы прося поддержки, и заявила:

– Сомневаюсь!.. Неужели вы воображаете, что мы втроем не справимся с одним пожилым, не в меру тучным и дерзким мужчиной? Как вы думаете, девочки? Давайте-ка возьмемся за него все вместе! Ведь ему не меньше сорока лет, у него аневризм сердца и – хотя не следует выдавать семейных тайн – в довершение всего меньерова болезнь.

Эрнестина, маленькая, но крепкая восемнадцатилетняя блондинка, выскочила из-за рояля, и все три девушки совершили набег на стоявший в амбразуре диван; захватив каждая по диванной подушке и отойдя друг от друга так, чтобы можно было хорошенько размахнуться, они двинулись на врага.

Форрест приготовился, затем поднял руку для переговоров.

– Трусишка! – насмешливо закричали они вразнобой и повторили хором: – Трусишка!

Он упрямо покачал головой.

– Вот за это и за прочие ваши дерзости вы все три будете наказаны по заслугам. Сейчас передо мной с ослепительной ясностью встают все нанесенные мне в жизни обиды. Через минуту я начну действовать. Но сначала, Льют, как сельский хозяин, со всем смирением, на какое я способен, прошу вас: объясните, ради Создателя, что это за штука – меньерова болезнь. Овцы могут заразиться ею?

– Меньерова болезнь – это, – начала Льют, – это... как раз то, что у вас. И единственные живые существа, которых постигает меньерова болезнь, – бараны.

Враги бросились друг на друга и вступили в яростную схватку. Форрест сразу атаковал противника излюбленным в Калифорнии футбольным приемом, который применялся еще до распространения регби; но девушки, пропустив его, ринулись на него с флангов и обстреляли подушками. Он тут же обернулся, раскинул руки и, согнув пальцы, словно крючком, зацепил всех трех сразу.

Теперь это уже был смерч, в центре которого вертелся человек со шпорами, а вокруг него крутились полы шелковых кимоно, летели во все стороны туфли, чепчики, шпильки. Слышались глухие удары подушек, рычание атакуемого, писк, визг и восклицания девушек, неудержимый хохот и треск рвущихся шелковых тканей.

Наконец Дик Форрест оказался лежащим на полу, полузадушенный и оглушенный ударами подушек; в руке он сжимал растерзанный голубой шелковый пояс, затканый красными розами.

На пороге одной из дверей стояла Рита, ее лицо пылало; она насторожилась, как лань, готовая бежать. В другой – не менее разгоряченная Эрнестина застыла в гордой позе матери Гракхов; она стыдливо завернулась в остатки своего кимоно и целомудренно придерживала его локтем. Спрятавшаяся было за роялем Льют пыталась бежать оттуда, но ей угрожал Форрест. Он стоял на четвереньках, изо всей силы ударял ладонями о паркет и свирепо вертел головой, подражая реву разъяренного быка.

– И люди все еще верят в доисторический миф, будто это жалкое подобие человека, распростертое здесь во прахе, когда-то помогло команде Беркли победить Стэнфорд! – торжественно провозгласила Эрнестина, которая находилась в большей безопасности, чем остальные.

Она тяжело дышала, и Форрест с удовольствием заметил трепет ее груди под легким блестящим вишневым шелком. Когда он взглянул на других, то увидел, что и они выбились из сил.

Рояль, за которым спряталась Льют, был небольшой ярко-белый, с золотом, в стиле этой светлой комнаты, предназначенной для утренних часов; он стоял на некотором расстоянии от стены, и Льют могла бежать в обе стороны. Форрест вскочил на ноги и потянулся к ней через широкую плоскую деку инструмента. Он сделал вид, что хочет перепрыгнуть, и Льют воскликнула в ужасе: – Шпоры, Дик! Ведь на вас шпоры!

– Тогда подождите, я их сниму, – отозвался он.

Только он наклонился, чтобы отстегнуть их, как Льют сделала попытку бежать, но он расставил руки и опять загнал ее за рояль.

– Ну смотрите! – закричал он. – Все падет на вашу голову! Если на крышке рояля будут царапины, я пожалуюсь Паоле.

– А у меня есть свидетельницы, – задыхаясь, крикнула Льют, показывая смеющимися голубыми глазами на подруг, стоявших в дверях.

– Превосходно, милочка! – Форрест отступил назад и вытянул руки. – Сейчас я доберусь до вас.

Он мгновенно выполнил свою угрозу: опершись руками о крышку рояля, боком перекинул через него свое тело, и страшные шпоры пролетели на высоте целого фута над блестящей белой поверхностью. И так же мгновенно Льют нырнула под рояль, намереваясь проползти под ним на четвереньках, но стукнулась головой о его дно и не успела еще опомниться от ушиба, как Форрест оказался уже на той стороне и загнал ее обратно под рояль.

– Вылезайте, вылезайте, нечего! – потребовал он. – И получайте заслуженное возмездие.

– Смилуйтесь, добрый рыцарь, – взмолилась Льют. – Смилуйтесь во имя любви и всех угнетенных прекрасных девушек на свете!

– Я не рыцарь, – заявил Форрест низким басом. – Я людоед, свирепый, неисправимый людоед. Я родился в болоте. Мой отец был людоедом, а мать моя – еще более страшной людоедкой. Я засыпал под вопли пожираемых детей. Я был проклят и обречен. Я питался только кровью девиц из Милльского пансиона. Охотнее всего я ел на деревянном полу, моим любимым кушаньем был бок молодой девицы, кровлей мне служил рояль. Мой отец был не только людоедом, он занимался и конокрадством. А я еще свирепее отца, у меня больше зубов. Помимо людоедства, моя мать была в Неваде агентом по распространению книг и даже подписке на дамские журналы! Подумайте, какой позор! Но я еще хуже моей матери: я торговал безопасными бритвами!

– Неужели ничто не может смягчить и очаровать ваше суровое сердце? – молила Льют, в то же время готовясь при первой возможности к побегу.

– «Только одно, несчастная! Только одно на небе, на земле и в морской пучине».

Эрнестина прервала его легким возгласом негодования – ведь это был плагиат.

– Знаю, знаю, – продолжал Форрест. – Смотри Эрнст Досон, страница двадцать седьмая, жиденькая книжонка с жиденькими стихотворениями для девиц, заключенных в Милльский пансион. Итак, я возвестил, до того как меня прервали: единственное, что способно смягчить и успокоить мое лютое сердце, – это «Молитва девы». Слушайте, несчастные, пока я не отгрыз ваши уши порознь и оптом! Слушайте и вы, глупая, толстая, коротконогая и безобразная женщина – вы там, под роялем! Можете вы исполнить «Молитву девы»?

Ответа не последовало. В это время из обеих дверей раздались восторженные вопли, и Лют крикнула из-под рояля входившему Берту Уэйнрайту:

– На помощь, рыцарь, на помощь!

– Отпусти деву сию! – приказал Берт.

– А ты кто? – спросил Форрест.

– Я король Джордж, то есть святой Георгий.

– Ну что ж! В таком случае я твой дракон, – с должным смирением признал Форрест. – Но прошу тебя, пощади эту древнюю, достойную и несравненную голову, ибо другой у меня нет.

– Отрубите ему голову! – скомандовали его три врага.

– Подождите, о девы, молю вас! – продолжал Берт. – Хоть я и ничтожество, но мне страх неведом. Я схвачу дракона за бороду и удушю его же бородой, а пока он будет медленно издыхать, проклиная мою жестокость и беспощадность, вы, прекрасные девы, бегите в горы, чтобы долины не поднялись на вас. Йоло, Петалуме и Западному Сакраменто грозят океанские волны и огромные рыбы.

– Отрубите ему голову! – кричали девушки. – А потом надо его заколоть и зажарить целиком.

– Они не знают пощады. Горе мне! – простонал Форрест. – Я погиб! Вот они, христианские чувства молодых девиц тысяча девятьсот четырнадцатого года! А ведь они в один прекрасный день будут участвовать в голосовании, если еще подрастут и не повыскочат замуж за иностранцев! Бери, святой Георгий, мою голову! Моя песенка спета! Я умираю и останусь навсегда неведом потомству!

Тут Форрест, громко стелая и всхлипывая, лег на пол, начал весьма натурально корчиться и брыкаться, отчаянно звеня шпорами, и наконец испустил дух.

Льют вылезла из-под рояля и исполнила вместе с Ритой и Эрнестиной импровизированный танец – это фурии плясали над телом убитого.

Но мертвец вдруг вскочил. Он сделал Льют тайный знак и крикнул:

– А герой-то! Героя забыли! Увенчайте его цветами!

И Берт был увенчан полуувядшими ранними тюльпанами, которые со вчерашнего дня стояли в вазах. Но когда сильной рукой Льют пучок намокших стеблей был засунут ему за ворот, Берт бежал. Шум погони гулко разнесся по холлу и стал удаляться вниз по лестнице, в сторону бильярдной. А Форрест поднялся, привел себя, насколько мог, в порядок и, улыбаясь и позванивая шпорами, продолжал свой путь по Большому дому.

Он прошел по двум вымощенным кирпичом и крытым испанской черепицей дворикам, которые утопали в ранней зелени цветущих кустарников, и, все еще тяжело дыша от веселой возни, вернулся в свой флигель, где его поджидал секретарь.

– С добрым утром, мистер Блэйк, – приветствовал его Форрест. – Простите, что опоздал. – Он взглянул на свои часы-браслет. – Впрочем, только на четыре минуты. Вырваться раньше я не мог.

Глава четвертая

С девяти до десяти Форрест и его секретарь занимались перепиской со всякими учеными обществами, питомниками и сельскохозяйственными организациями.

У рядового дельца, работающего без секретаря, это отняло бы весь день. Но Дик Форрест поставил себя в центре некоей созданной им системы, которой он втайне очень гордился. Важные письма и бумаги он подписывал собственноручно; на всем остальном мистер Блэйк ставил его штамп. В течение часа секретарь стенографировал подробные ответы на одни письма и готовые формулировки ответов на другие. Мистер Блэйк считал в душе, что он работает гораздо больше своего хозяина и что последний просто феномен по части откапывания работы для своих служащих.

Ровно в десять вошел Питтмен – консультант по выставочному скоту, и Блэйк удалился в свою контору, унося лотки с письмами, пачки бумаг и валики от диктофонов.

С десяти до одиннадцати непрерывно входили и выходили управляющие и экономы. Все они были вышколены, умели говорить кратко и экономить время. Дик Форрест приучил их к тому, что когда они являются с докладом или предложением – колебаться и размышлять уже поздно: надо думать раньше. В десять часов Блэйка сменял помощник секретаря Бонбрайт, садился рядом с хозяином, и его неутомимый карандаш, летая по бумаге, записывал быстрые, как беглый огонь, вопросы и ответы, отчеты, планы и предложения. Эти стенографические записи, которые потом расшифровывались и переписывались на машинке в двух экземплярах, были прямо кошмаром для управляющих и экономов, а иногда играли и роль Немезиды. Форрест и сам обладал удивительной памятью, однако он любил доказывать это, ссылаясь на записи Бонбрайта.

Нередко после пяти- или десятиминутного разговора с хозяином служащий выходил от него весь в поту, вымотанный, разбитый, словно пропущенный через мясорубку. В этот короткий, но чрезвычайно напряженный час Форрест брался за каждого по-хозяйски, вникая во все детали его особой, сложной области. Так, Томпсону, механику, он за четыре быстролетных минуты указал, почему динамо при холодильнике Большого дома работает неправильно, подчеркнув, что виноват сам Томпсон; заставил Бонбрайта записать страницу и главу той книги из библиотеки, которую должен был по этому случаю прочесть Томпсон; сообщил ему, что Паркмен, управляющий молочной фермой, недоволен работой доильных машин и что холодильник на бойне работает с перебоями.

Каждый из его служащих был в своей области специалистом, но Форрест, по общему признанию, знал все. Так, Полсон – агроном, ответственный за пахоту, жаловался Досону – агроному, ответственному за уборку урожая:

– Я служу здесь двенадцать лет и не замечал, чтобы Форрест когда-нибудь прикоснулся к плугу, а вместе с тем он, черт бы его побрал, на этом деле собаку съел! Знаете, он просто гений! Вот такой случай: он был занят чем-то другим и притом ему надо было следить, чтобы Фурия не выкинула какое-нибудь опасное коленце, а на следующий день он в разговоре заметил, будто мимоходом, что поле, мимо которого он проезжал, вспахано на глубину стольких-то дюймов – и притом с точностью до полдюйма – и что пахали его плугом такой-то системы... А возьмите запашку Поппи-Мэдоу – знаете, над Литтл-Мэдоу, на Лос-Кватос... Я просто не знал, что с ней делать, – мне пришлось вывернуть и подзол. Ну, думаю, как-нибудь сойдет! Когда все было кончено, он проехал мимо. Я глаз с него не спускал, а он даже как будто и не взглянул на поле, но на следующее утро я получил в конторе такой нагоняй!.. Нет, мне не удалось провести его. С тех пор я никогда и не пытаюсь...

Ровно в одиннадцать Уордмен, ученый овцевод, ушел от Форреста, получив приказание отправиться к половине двенадцатого в машине вместе с Тэйером, покупателем из Айдахо, смотреть шропширских овец; удалился и Бонбрайт, чтобы разобраться в сделанных сегодня заметках. Форрест наконец остался один. Из проволочного лотка, где хранились неоконченные дела, – таких лотков было множество, и они были поставлены один на другой по пять штук, – он извлек изданную в штате Айова брошюру о свиной холере и стал ее просматривать.

В свои сорок лет Форрест выглядел весьма внушительно. Высокий рост, большие серые глаза, темные ресницы и брови, прямой, не очень высокий лоб, светло-каштановые волосы, слегка выступающие скулы и под ними обычные для такого строения черепа легкие впадины; челюсти крепкие, но не массивные, тонкие ноздри, нос прямой, не слишком крупный, подбородок не раздвоенный, крутой, но без тяжести; губы почти женственные и мягко очерченные, но чувствуется, что они могут принимать очень твердое выражение. Кожа на лице гладкая, покрытая загаром, и только над бровями – там, куда падала тень широкополой шляпы, – лоб оставался белым.

В уголках рта и глаз таился смех, и самые морщинки вокруг губ казались следом только что исчезнувшей улыбки.

Вместе с тем каждая черта в лице этого человека говорила о спокойной силе и уверенности. Да, Дик Форрест был уверен в себе: уверен, что когда он протянет руку к столу за нужной вещью, то безошибочно и мгновенно найдет эту вещь – ни на дюйм правее или левее, а именно там, где ей быть надлежит; уверен, пробегая брошюру о свиной холере, что его ясный и внимательный ум не пропустит ничего существенного; уверен в своем сильном теле, когда, сидя перед письменным столом на вращающемся кресле, он откидывался на его крепкую спинку; уверен в своем сердце и уме, в своей жизни и работе, в самом себе и во всем, что ему принадлежит.

И он имел право на такую уверенность: его тело, мозг и жизненный путь выдержали немало испытаний. Сын богатых родителей, он никогда не мотал отцовских денег. Рожденный и воспитанный в городе, он вернулся к земле и так преуспел, что где бы скотоводы ни встретились, они непременно упоминали его имя. Огромное имение его было свободно от долгов и закладных. Он был владельцем двухсот пятидесяти тысяч акров земли стоимостью от тысячи до ста долларов за акр и от ста долларов до десяти центов, причем была даже такая земля, которая не стоила и пенни. Местное сельское население и не представляло себе, какие суммы он затрачивал на обработку и улучшение этих угодий, на осушку лугов и болот, прокладывание дорог и оросительных каналов, возведение построек и содержание Большого дома.

В его хозяйстве все до последней мелочи было поставлено на широкую ногу и вместе с тем вполне отвечало последнему слову науки. Его управляющие пользовались бесплатными квартирами в домах, стоивших от пяти до десяти тысяч долларов, а жалованье они получали в зависимости от своих качеств; это были лучшие специалисты, собранные со всего материка, от Атлантического до Тихого океана. Если ему нужны были бензиновые тракторы для вспашки низменностей, он покупал сразу большую партию. А если он запруживал воду в горах, то строил огромные плотины, создавал целые озера вместимостью чуть не в миллиард галлонов воды. Если Дик осушал болота, то, вместо того чтобы поручать это специальным предприятиям, он сам выписывал мощные землечерпалки; когда же в его имении не было такой работы, он брал подряды на осушение болотистых земель у соседних крупных фермеров и заключал договоры с земельными компаниями и корпорациями за сотни миль от Большого дома, вверх и вниз по реке Сакраменто.

Он был достаточно умен и понимал, что без чужого ума не обойдешься и что, покупая эти чужие умы, приходится платить самым способным значительно больше обычной рыночной цены, – достаточно умен, чтобы направлять эти купленные им умы на служение его интересам.

И вот ему стукнуло сорок лет; его взгляд был ясен, сердце билось ровно, он чувствовал себя здоровым и в расцвете сил. Однако до тридцати он вел жизнь беспорядочную и сумасбродную. Тринадцати лет он убежал из дома, оставленного ему отцом-миллионером; окончил университет, когда ему еще не было двадцати одного года, а затем решил изведать соблазны всех сказочных гаваней и сказочных морей. С трезвой головой и пылающим сердцем шел он, смеясь, на любой риск, только бы получить желанное, и окунулся в тот бурный мир приключений, который буквально у него на глазах все же вынужден был покориться закону и порядку.

В былые дни имя отца Форреста имело в Сан-Франциско магическую силу. Дом Форрестов на Ноб-Хилле, где жили такие люди, как Флуды, Маккейи, Крокеры и О'Брайены, был одним из первых воздвигнутых здесь дворцов. Ричард Форрест, прозванный «Счастливым», отец Дика, прибыл сюда из Новой Англии через Панамский перешеек в поисках почвы для смелых торговых предприятий; перед отъездом он интересовался быстроходными судами и строительством быстроходных судов, в Калифорнии же стал интересоваться земельными участками в районе порта и речными пароходами, потом, конечно, рудниками, а позднее – осушкой Комстока в Неваде и постройкой Южно-Тихоокеанской железной дороги.

Он делал только крупные ставки – крупно проигрывал и крупно выигрывал; но выигрывал он всегда больше, чем проигрывал, – ибо то, что он терял в одной игре, в другой возвращалось ему сторицей. Деньги, нажитые им на осушке Комстока, были спущены целиком в бездонные Даффоцилские рудники в округе Эльдorado. Все, что ему удалось спасти от краха на Бениша-Лайн, он вложил в ртутные месторождения «Напа Консолидейтед», которые принесли ему пять тысяч процентов прибыли. А потерянное в стоктонском буме он вернул с лихвой, купив земельные участки в Сакраменто и Окленде.

И когда в довершение всех авантур «Счастливым» Форрест потерял после целого ряда неудач все свое состояние и дело дошло до того, что в Сан-Франциско уже обсуждали, за какую цену дворец на Ноб-Хилле пойдет с молотка, он снабдил некоего Дела Нелсона всем необходимым для экспедиции в

Мексику. О результатах этой экспедиции, даже по трезвым данным истории, известно, что Дел Нелсон открыл такие богатейшие месторождения золота, как «Группа Харвест» с неистощимыми рудниками Тэттлснейк, Войс, Сити, Дездемона, Буллфрэг и Йеллоу-Бой. Ошарашенный этим успехом, Дел Нелсон спился в один год, поглотив целое море дешевого виски; и так как наследства никто не оспаривал, ибо он был совершенно одинок, то его долю в предприятии получил «Счастливец» – Ричард Форрест.

Дик Форрест был истинный сын своего отца – «Счастливика» Ричарда, человека неутомимой энергии и предприимчивости. Хотя отец был дважды женат и дважды овдовел, Бог не благословил его потомством. В третий раз Ричард женился в 1872 году, когда ему было уже пятьдесят восемь лет, а в 1874 году родился мальчик – здоровяк и крикун, двенадцати фунтов весом, – правда, он стоил жизни своей матери. Новорожденный поступил на попечение десятка кормилиц и нянек, водворившихся во дворце на Ноб-Хилле.

Маленький Дик развился рано. «Счастливец» Ричард был демократом. Мальчику взяли учителя, и он за год выучился всему тому, на что в школе потратил бы три года, а освободившееся таким образом время посвящал играм на открытом воздухе. Способности Дика и демократизм его отца были причиной того, что старик отдал сына в последний класс обычной народной школы: пусть мальчик потрется там среди детей рабочих и торговцев, доморощенных политиков и трактирщиков.

В школе он был просто учеником среди прочих учеников, и все миллионы отца не могли изменить того факта, что не он, а сын подносчика кирпича Пэтси Хэллорэна показал себя вундеркиндом в математике, а Мона Сангвинетти, мать которой содержала зеленую, была рекордсменкой по части правописания. Не помогли ему также ни отцовские миллионы, ни дворец на Ноб-Хилле, когда он, сбросив куртку, голыми руками, без всяких раундов и правил, дрался из последних сил то с Джимми Батсом, то с Джаном Шоинским и другими мальчиками, представителями того мужественного и крепкого поколения, которое могло вырасти только в Сан-Франциско в период его бурной и воинственной, мощной и здоровой юности, – того поколения, из которого вышло затем столько боксеров, рассеявшихся по свету в поисках славы и денег.

Самым умным, что «Счастливец» Форрест мог сделать для сына, было дать ему эту демократическую закваску. В глубине души Дик никогда не забывал того, что он живет во дворце с десятками слуг и что отец его – могущественный и

влиятельный миллионер, но вместе с тем он научился уважать демократию и людей, которые должны рассчитывать только на самих себя и на свои руки. Он научился этому тогда, когда на классном состязании по орфографии победила Мона Сангвинетти, а Берни Миллер обогнал его на состязаниях в беге.

И когда Тим Хэгэн в сотый раз разбил ему нос и губы и после ряда ударов под ложечку повалил его, ослепленного, задыхающегося, и Дик сопел и не мог пошевелить распухшими губами, то никакие дворцы и чековые книжки не могли ему помочь. Он сам, своими кулаками, должен был отстоять себя. Именно тут, весь в поту и в крови, Дик научился упорной борьбе и умению не сдаваться, даже когда битва проиграна. Удары, которые ему наносил Тим, были ужасны, но Дик выдержал. Он крепился до тех пор, пока они не решили, что одному другого не побороть. Но к этому решению они пришли, только когда оба в изнеможении лежали на земле, всхлипывая от боли и тошноты, от бешенства и упрямства. После этого они подружились и вместе верховодили на школьном дворе.

«Счастливец» Ричард Форрест умер в том же месяце, в каком Дик окончил школу. Дику исполнилось тринадцать лет; у него было двадцать миллионов и ни одного родственника, который бы мог вмешиваться в его жизнь. У него были, кроме того, дворцы, толпа слуг, паровая яхта, конюшни и летняя вилла у моря, на южном конце полуострова, в Мэнло, колонии набобов. Один только стеснительный придаток ко всему этому получил он, – и это были его опекуны.

И вот в летний день в большой библиотеке Дик присутствовал на их первом совещании. Их было трое, все пожилые, богатые, юристы и дельцы; все – бывшие компаньоны его отца. Когда они изложили Дику положение дел, он почувствовал, что, несмотря на их самые благие намерения, у него нет с ними решительно ни одной точки соприкосновения. Ведь их юность была уже так далека от них. Кроме того, ему стало совершенно ясно, что именно его, вот этого мальчика, судьбой которого они так озабочены, эти пожилые мужчины совершенно не понимают. Поэтому Дик с присущей ему категоричностью решил, что только он один в целом мире знает, что для него самое лучшее.

Мистер Крокетт произнес длинную речь, и Дик выслушал ее с подобающим и настороженным вниманием, кивая головой всякий раз, когда говоривший обращался прямо к нему. Мистер Дэвидсон и мистер Слокум также высказали свои соображения, и он отнесся к ним не менее почтительно. Между прочим, Дик узнал из их слов, какой прекрасный и благородный человек был его отец, а также, какую программу выработали его опекуны, чтобы сделать из него столь

же прекрасного и благородного человека.

Когда они кончили свои объяснения, слово взял Дик.

– Я все обдумал, – заявил он, – и прежде всего – я отправлюсь путешествовать.

– Путешествия – это потом, мой мальчик, – мягко пояснил мистер Слокум. – Когда... ну... когда вы приготовитесь в университет... вам будет очень полезно – да, да, чрезвычайно полезно... провести годик за границей.

– Разумеется, – торопливо вмешался мистер Дэвидсон, заметив, что в глазах мальчика вспыхнуло недовольство и он с бессознательным упорством сжал губы, – разумеется, можно будет и до этого совершать небольшие поездки, например, во время каникул... Мои коллеги, наверное, согласятся, что подобные поездки – разумеется, при соответствующем руководстве и должном надзоре, – что такие поездки во время каникул могут быть поучительны и даже желательны.

– А сколько, вы сказали, у меня денег? – спросил Дик ни с того ни с сего.

– Двадцать миллионов по самому скромному подсчету... да, примерно эта сумма, – не задумываясь ответил мистер Крокетт.

– А если я скажу вам, что мне сейчас нужно сто долларов? – продолжал Дик.

– Но... это... гм... – И мистер Слокум вопросительно посмотрел на своих коллег.

– Мы были бы поставлены в необходимость спросить вас, на что вам нужны эти деньги, – ответил мистер Крокетт.

– А что, если я... – очень медленно проговорил Дик, глядя в упор на мистера Крокетта, – если я отвечу вам, что очень сожалею, но объяснить, зачем они мне нужны, не хочу?

– В таком случае вы бы их не получили, – ответил мистер Крокетт весьма решительно, и в его ответе послышалось даже некоторое раздражение и досада.

Дик задумчиво кивнул головой, как бы стараясь запомнить этот ответ.

– Ну, конечно, мой друг, – поспешно вмешался мистер Слокум, – вы же слишком молоды, чтобы распоряжаться своими деньгами, сами понимаете. И пока мы призваны это делать вместо вас.

– Значит, я без вашего разрешения не могу взять ни одного пенни?

– Ни одного! – отрезал мистер Крокетт.

Дик снова задумчиво покачал головой и пробормотал:

– О да, понимаю...

– Конечно, вполне естественно и даже справедливо, чтобы вы получали небольшие карманные деньги на ваши личные траты, – добавил мистер Дэвидсон. – Ну, скажем, доллар или два доллара в неделю. По мере того как вы будете становиться старше, эту сумму можно будет увеличивать. А когда вам минет двадцать один год, вы, без сомнения, окажетесь в состоянии управлять своими делами самостоятельно; разумеется, и мы вам поможем советами...

– И хотя у меня двадцать миллионов долларов, я до двадцати одного года не смогу взять даже сто долларов и истратить их как мне хочется? – спросил Дик очень смиренно.

Мистер Дэвидсон решил было ответить утвердительно, но подбирал выражения помягче; однако Дик заговорил снова: – Насколько я понимаю, мне можно тратить деньги только после вашего общего решения?

Опекуны закивали.

– И все то, на чем мы согласимся, будет иметь силу?

И опять опекуны кивнули.

– Ну вот, я хотел бы сейчас же получить сто долларов, – заявил Дик.

– А для чего? – осведомился мистер Крокетт.

– Пожалуй, я скажу вам, – ответил мальчик спокойно и серьезно. – Я отправлюсь путешествовать.

– Сегодня вы отправитесь в постель ровно в восемь тридцать, и больше никуда, – резко отчеканил мистер Крокетт. – Никаких ста долларов вы не получите. Дама, о которой мы вам говорили, придет сюда к шести часам. Вы будете ежедневно и ежечасно состоять на ее попечении. В шесть тридцать вы, как обычно, сядете с нею за стол, и она позаботится о том, чтобы вы легли в надлежащее время. Мы уже говорили вам, что она должна заменить вам мать и смотреть за вами... Ну... чтобы вы мыли шею и уши...

– И чтобы я по субботам брал ванну, – с глубочайшей кротостью dokonчил Дик.

– Вот именно.

– Сколько же вы... то есть я буду платить этой даме за ее услуги? – продолжал расспрашивать Дик с той раздражающей непоследовательностью, которая уже входила у него в привычку и выводила из себя учителей и товарищей.

Впервые мистер Крокетт ответил не сразу и сначала откашлялся.

– Ведь это же я плачу ей, не правда ли? – настаивал Дик. – Из моих двадцати миллионов? Верно?

«Вылитый отец», – заметил про себя мистер Слокум.

– Миссис Соммерстон – «эта дама», как вам угодно было выразиться, – будет получать полтора ста долларов в месяц, что составит в год ровно тысячу восемьсот долларов, – пояснил мистер Крокетт.

– Выброшенные деньги, – заявил со вздохом Дик. – Да еще считайте стол и квартиру!

Дик поднялся – тринадцатилетний аристократ не по рождению, но потому, что он вырос во дворце на Ноб-Хилле, – и стоял перед опекунами так гордо, что все трое тоже невольно поднялись со своих кожаных кресел. Но он стоял перед ними не так, как стоял, быть может, некогда маленький лорд Фаунтлерой, ибо в Дике жили две стихии. Он знал, что человеческая жизнь многолика и многогранна: недаром Мона Сангвинетти оказалась сильнее его в орфографии и недаром он дрался с Тимом Хэгэном, а потом дружил с ним, деля власть над товарищами.

Он был сыном человека, пережившего золотую лихорадку сорок девятого года. Дома он рос аристократом, а школа воспитала в нем демократа. И его преждевременно развившийся, но еще незрелый ум уже улавливал разницу между привилегированными сословиями и народными массами. Помимо того, в нем жили твердая воля и спокойная уверенность в себе, совершенно непонятная тем трем пожилым джентльменам, в руки которых была отдана его судьба и которые взяли на себя обязанность приумножать его миллионы и сделать из него человека согласно их собственному идеалу.

– Благодарю вас за вашу любезность, – обратился Дик ко всем трем. – Надеюсь, мы поладим. Конечно, эти двадцать миллионов принадлежат мне, и, конечно, вы должны сохранить их для меня, ведь я в делах ничего не смыслю...

– И поверьте, мой мальчик, что мы ваши миллионы приумножим, бесспорно приумножим, и притом самыми безопасными и испытанными способами, – заявил мистер Слокум.

– Только, пожалуйста, без спекуляций, – предупредил их Дик. – Папе везло, но я часто слышал от него, что теперь другие времена и уже нельзя рисковать так, как прежде рисковали все.

На основании всего этого можно было, пожалуй, решить, что у Дика мелочная и корыстная душонка. Нет! Именно в эти минуты он меньше всего думал о своих двадцати миллионах. Его занимали мечты и планы, столь далекие от всякой корысти и стяжательства, что они скорее роднили его с любым пьяным матросом, который расшвыривает на берегу свое жалованье, заработанное за три года.

– Правда, я только мальчик, – продолжал Дик, – но вы меня еще не очень хорошо знаете. Со временем мы познакомимся ближе, а пока – еще раз спасибо...

Он смолк и отвесил легкий поклон, полный достоинства: к таким поклонам привыкают очень рано все лорды во всех дворцах на Ноб-Хилле. Его молчание говорило о том, что аудиенция кончена. Опекуны это поняли, и они, товарищи его отца, с которыми тот вел крупнейшие дела, удалились сконфуженные и озадаченные.

Спускаясь по широкой каменной лестнице к ожидавшему их экипажу, мистер Дэвидсон и Слокум были готовы дать волю своему гневу, но Крокетт, только что возражавший мальчику так сердито и резко, пробормотал с восхищением:

– Ах, стервец! Ну и стервец!

Экипаж отвез их в старый Тихоокеанский клуб, где они еще с час озабоченно обсуждали будущность Дика Форреста и жаловались на ту трудную задачу, которую на них взвалил «Счастливчик» Ричард Форрест.

А в это время Дик торопливо спускался с горы по слишком крутым для лошадей и экипажей, заросшим травой мощеным улицам. Едва он оставил за собой живописные холмы, виллы и пышные сады миллионеров и спустился вниз, как тут же попал в узкие улочки с деревянными лачугами, где жил рабочий люд. В 1887 году Сан-Франциско еще представлял собой такую же беспорядочную смесь дворцов и трущоб, как и любой старый европейский город; и Ноб-Хилл, подобно средневековому замку, вырастал из нищеты и грязи обыденной жизни, которая ютилась у его подножия.

Дик наконец остановился на углу, возле бакалейной лавки, над которой жил Тимоти Хэгэн-старший; Тимоти мог позволить себе эту роскошь – жить над головой своих сограждан, содержавших семью на сорок – пятьдесят долларов в месяц, так как служил в полиции и получал сто.

Но тщетно Дик свистел под открытыми, не защищенными от солнца окнами: Тима Хэгэна-младшего не было дома. Наконец Дик смолк и принялся перебирать в уме все те места неподалеку, где мог находиться его приятель; но в это время тот и сам появился из-за угла, бережно неся жестянку из-под лярда, полную пенящегося пива. Он пробурчал какое-то приветствие, и Дик также грубо

буркнул ему что-то в ответ, точно всего час назад не он так смело и надменно отпустил трех некоронованных королей огромного города. Он говорил, как обычный мальчишка, и ничто в его тоне не показывало, что он – будущий владелец двадцати миллионов, а со временем и большего богатства.

– Я не видел тебя после смерти твоего старика, – заметил, поравнявшись с ним, Тим Хэгэн.

– Зато видишь теперь. Верно? – отозвался Дик. – Знаешь, Тим, я к тебе по делу.

– Ладно, подожди, сначала отдам пиво моему старику, – сказал Тим, следя опытным глазом за вздымающейся у краев жестянки пеной. – Раскритится, если подашь без пены. – А ты встряхни жестянку, вот и будет пена, – посоветовал Дик. – Мне только на минутку. Дело в том, что я нынче ночью удираю. Хочешь со мной?

Голубые ирландские глазки Тима загорелись любопытством.

– А куда? – спросил он.

– Не знаю. Так хочешь? Если да, можно будет обсудить потом, когда будем уже в пути. Ты знаешь все лучше меня. Ну как? Согласен?

– Старик-то с меня шкуру спустит, – пробормотал Тим. – Да ведь он колотил тебя и раньше, а твоя шкура, кажется, еще цела, – последовал бессердечный ответ. – Только скажи «да», и мы встретимся сегодня вечером в девять часов у перевоза. Ну как? Идет? Словом, в девять я там буду.

– А если я не явлюсь? – спросил Тим.

– Все равно, уеду один. – И Дик отвернулся, делая вид, что собирается уходить; потом приостановился и бросил небрежно: – Лучше, если бы вместе...

Тим встряхнул жестянку с пивом и отвечал так же небрежно:

– Да уж ладно. Приду.

Расставшись с Тимом, Дик принялся разыскивать некоего Марковича, словенца, тоже бывшего школьного товарища; его отец содержал дешевый ресторан, где можно было за двадцать центов получить очень приличный обед. Молодой Маркович взял как-то у Дика в долг два доллара, но Дик поладил с ним на одном долларе сорока центах, остальную же часть долга простил Марковичу.

Затем Дик не без робости и волнения прошелся по Монтгомери-стрит, мимо украшавших эту оживленную улицу многочисленных ломбардов и ссудных касс. С отчаянной решимостью он наконец выбрал одну из них и обменял там на восемь долларов и квитанцию часы, стоившие, как он знал, по меньшей мере пятьдесят.

Обед во дворце на Ноб-Хилле подавался в половине седьмого. Дик явился домой без четверти семь и сразу налетел на миссис Соммерстон. Это была полная пожилая дама, из некогда знаменитой, а теперь обедневшей семьи Портер-Рингтон, финансовый крах которой потряс в семидесятых годах все Тихоокеанское побережье. Несмотря на свою полноту, она страдала, по ее словам, «расстройством нервов».

– Нет, нет, это невозможно, Ричард, – возмущенно изрекла она. – Обед ждет уже целых четверть часа, вы еще не вымыли лицо и руки.

– Простите, миссис Соммерстон, – извинился Дик. – Я больше никогда не буду опаздывать. Да и вообще не причиню вам впредь никакого беспокойства.

Они обедали вдвоем в огромной столовой, и Дик старался занимать свою воспитательницу, ибо, хотя он и платил ей жалованье, она все-таки была для него гостьей.

– Когда вы устроитесь, вам будет здесь очень хорошо. Это уютный старый дом, да и слуги живут здесь уже много лет.

– Но, Ричард, – возразила она с улыбкой, – ведь не от слуг зависит то, как я буду чувствовать себя здесь, а от вас. – Я сделаю все, что могу, – любезно ответил он, – и даже сверх того. Я очень сожалею, что сегодня опоздал. Пройдут многие-многие годы, и я ни разу не опоздаю. Я решил совсем не беспокоить вас. Вот увидите. Будет так, словно меня и нет в доме.

Затем он пожелал ей спокойной ночи и, уходя, прибавил, как бы что-то вспомнив:

– Насчет одного я должен вас предупредить: это касается повара, его зовут О-Чай. Он у нас в доме очень давно, я даже не помню, сколько лет, – может быть, двадцать пять, а то и тридцать; он готовил отцу, когда меня еще не было на свете и когда не было этого дома. Он у нас на особом положении и так привык все делать по-своему, что вам придется с ним обращаться довольно осторожно. Но если он вас полюбит, то себя не пожалеет, чтобы вам угодить. Меня он очень любит. Сделайте так, чтобы он и вас любил, и вам будет здесь очень хорошо. А я, право же, не причиню вам больше никакого беспокойства. Я сделаю так, будто меня нет в доме.

Глава пятая

В девять часов, минута в минуту, Дик, одетый в свое самое старое платье, встретился с Тимом Хэгэном у перевоза. – На север идти не стоит, – сказал Тим. – Скоро зима, и спать будет холодно. Хочешь, пойдём на восток, в сторону Невады и пустыни?

– А еще куда можно? – спросил Дик. – Что, если мы выберем юг и пойдём на Лос-Анджелес, Аризону, Новую Мексику и Техас? – предложил он.

– Сколько ты раздобыл денег? – спросил Тим.

– А тебе зачем? – возразил Дик.

– Важно уйти из этих мест как можно скорее, а чтобы двигаться быстрее, надо платить. Мне-то наплевать. Вот ты – другое дело. Твои опекуны сейчас же поднимут шум, наймут ораву сыщиков; а те как пойдут по следу – не отвяжешься. Надо скорее смыться.

– Ну что ж, раз иначе нельзя... – отозвался Дик. – Несколько дней мы будем петлять, путать их, скрываться и за все платить, пока не доберемся до Трэйси. А потом платить перестанем и повернем на юг.

Вся эта программа была ими выполнена в точности. Трэйси они проехали в качестве платных пассажиров; через шесть часов после того как местный шериф перестал обыскивать поезда, Дик из осторожности заплатил еще до станции Модесто, а там платить перестал, и, следуя советам Тима, мальчики продолжали путь «зайцами» в багажных и товарных вагонах, а также на тендерах. Дик покупал газеты и пугал Тима, читая ему трагические описания того, как был похищен юный наследник форрестовских миллионов.

В Сан-Франциско опекуны дали объявление, что нашедшему и доставившему домой их подопечного будет выплачена премия в тридцать тысяч долларов. Тим Хэгэн, читавший эти сообщения, когда мальчики отдыхали на траве у какой-нибудь водокачки, навсегда внушил своему товарищу ту мысль, что честность и честь не являются достоянием какой-нибудь отдельной касты и могут обитать не только во дворце на вершине горы, но и в убогой квартирке над бакалейной лавкой.

– Ах черт! – обратился Тим не столько к Дику, сколько к лежавшему перед ними ландшафту. – Мой старик не стал бы шуметь оттого, что я удрал, если бы я выдал тебя за тридцать тысяч! Даже подумать страшно!

Раз Тим так открыто об этом заговорил, значит, с этой стороны Дику опасаться нечего, – сын полисмена не донесет на него.

Только шесть недель спустя, уже в Аризоне, Дик опять коснулся этого вопроса.

– Понимаешь ли, Тим, – сказал Дик, – я получил кучу денег, и мой капитал все время растет, а я из него не трачу ни одного цента, как ты видишь сам... хотя миссис Соммерстон и выжимает из меня тысячу восемьсот долларов в год, да кроме того, – стол, квартиру и экипаж, а мы с тобой живем, как бродяги, и рады подобрать за каким-нибудь кочегаром его объедки. И все-таки мой капитал растет! Сколько это выходит – десять процентов с двадцати миллионов долларов? Сосчитай!

Тим Хэгэн уставился на струи горячего воздуха, волновавшиеся над пустыней, и попытался решить предложенную ему задачу.

– Ну, сколько будет одна десятая от двадцати миллионов? – нетерпеливо спросил Дик.

– Сколько? Два миллиона, конечно.

– А пять процентов – половина десяти. Сколько же это составит в год, если считать двадцать миллионов из пяти процентов?

Тим нерешительно молчал.

– Да половину, половину двух миллионов! – крикнул Дик. – Значит, я каждый год становлюсь на один миллион богаче. Запомни это и слушай дальше. Когда я соглашусь вернуться домой, – а это будет только через много-много лет, мы с тобой решим когда, – я тебе скажу, и ты напишешь отцу. Он нагрянет в условленное место, заберет меня и доставит куда следует. А потом получит от опекунов обещанные тридцать тысяч, бросит службу в полиции и откроет пивную.

– Тридцать тысяч, это, знаешь, сколько денег? – небрежно проговорил Тим, выразив таким образом свою благодарность.

– Только не для меня, – заявил Дик, стараясь умалить свою щедрость. – Тридцать тысяч в миллионе содержится тридцать три раза, а мои деньги за один год приносят миллион.

Однако Тиму не суждено было дожить до тех времен и увидеть, как его отец станет владельцем пивной. Два дня спустя после этого разговора не в меру ретивый кондуктор выставил мальчиков из пустого товарного вагона, когда поезд стоял на мосту, перекинутом через высохший каменистый овраг. Дик взглянул вниз: дно оврага лежало на глубине семидесяти футов, – и он невольно содрогнулся.

– Место здесь есть, – сказал он, – но что, если поезд тронется?

– Не тронется. Удирайте, пока можно, – настаивал кондуктор. – Паровоз на той стороне набирает воду. Он тут всегда набирает.

Но именно в этот раз паровоз не стал брать воду. Следствие потом выяснило, что воды в водокачке не оказалось и машинист решил ехать дальше. Едва мальчики успели соскочить наземь из боковой двери вагона и пройти несколько шагов по

узкому пространству между рельсами и обрывом, как поезд начал двигаться. Дик, всегда быстро соображавший и действовавший, стал на четвереньки. Это дало ему возможность крепче уцепиться за мост и удержаться, ибо выступавшие части вагона проходили над его головой, не задевая его.

Но Тим, соображавший гораздо медленнее и еще ослепленный чисто кельтским бешенством, вместо того чтобы лечь на мост, продолжал стоять и крайне образно, в духе своих родичей, выражаться по адресу кондуктора.

- Ложись! Скорее! - крикнул ему Дик.

Но Тим уже упустил удобную минуту: поезд шел под уклон и быстро ускорял ход. Стоя лицом к бегущим вагонам и чувствуя, что за спиной у него нет опоры, а под ногами - пропасть, Тим наконец решил последовать примеру Дика. Но едва он повернулся, как ударился плечом о бегущие вагоны и чуть не потерял равновесие. Каким-то чудом он все же удержался и продолжал стоять. Поезд шел все быстрее. Лечь было уже нельзя.

Дик следил за всем этим, но не мог двинуться. Поезд набирал скорость. Однако Тим не терял присутствия духа: стоя спиной к пропасти, а лицом к бегущим вагонам и упираясь ногами в узкие доски моста, он качался и балансировал. Чем быстрее шел поезд, тем сильнее Тим качался; наконец, сделав над собой усилие, он нашел устойчивое положение и перестал раскачиваться.

Все могло бы еще окончиться благополучно, если бы не последний вагон. Дик понял это и с ужасом следил за его приближением. Это был «усовершенствованный вагон для лошадей» - на шесть дюймов шире, чем все остальные. Дик видел, что и Тим его заметил; видел, как товарищ напряг все силы, чтобы удержаться на том пространстве, которое теперь еще сократилось чуть не на полфута; видел, как Тим откидывается назад все дальше, дальше, до последней возможности, и все же недостаточно далеко. Катастрофа была неизбежна. Если бы вагон оказался уже всего на один дюйм, Тим устоял бы. Один дюйм - и он упал бы на рельсы позади поезда, а вагон прошел бы мимо. Но именно этот дюйм и погубил его. Вагон толкнул Тима, мальчик несколько раз перевернулся в воздухе и рухнул головой на камни.

Там, внизу, он уже не шевелился. Упав с высоты семидесяти футов, он сломал себе шею и размозжил череп.

Тут Дик впервые познал смерть – не упорядоченную и благопристойную смерть, какой она бывает среди цивилизованных людей, когда и врачи, и сиделки, и наркотики облегчают человеку переход в вечную ночь, а его близкие пытаются пышными обрядами, цветами и торжественными проводами скрасить его путешествие в царство теней, – но смерть внезапную и простую, грубую и неприкрашенную; смерть, подобную смерти быка или жирной свиньи, убитых на бойне.

И еще многое открылось Дику: превратности жизни и судьбы; враждебность вселенной к человеку; необходимость быстро соображать и действовать, быть решительным и уверенным в себе, уметь мгновенно приспособляться к неожиданным переменам в соотношении сил, властвующих над всем живым. И, стоя над изуродованными останками того, кто всего несколько минут назад был его товарищем, Дик понял, что нельзя доверяться иллюзиям – за них всегда приходится расплачиваться, и что только действительность никогда не лжет.

В Новой Мексике Дик случайно попал на одно ранчо под названием Джингл-Боб, расположенное к северу от Росуэлла, в долине Пикос. Дику еще не было четырнадцати лет, но он скоро сделался всеобщим любимцем; это, однако, не помешало ему стать настоящим ковбоем, подобным тем, которые даже в официальных бумагах именовали себя: «Дикий Конь», «Вилли-Олень», «Большой Карман» или «Вырви глаз».

Здесь за полгода, проведенных на ранчо, Дик в совершенстве узнал лошадей и, будучи сильным и ловким, сделался отличным наездником, а также узнал людей, как они есть, – и это драгоценное знание сберег на всю жизнь. Но он узнал и многое другое. Вот, например, Джон Чайзом, владелец Джингл-Боба, *Bosque grande* и еще многих других скотоводческих ферм до самой Черной речки и за ней; Джон Чайзом, «коровий король», предвидя возникновение мелких фермерских хозяйств, скупил кругом все свободные участки, на которых имелась вода, поставил ограды из колючей проволоки и стал полновластным хозяином над миллионами акров прилегавшей к ним земли, которая без орошения не имела никакой цены. А из бесед у ночного костра, сидя возле фургона с продовольствием, среди ковбоев, получавших в месяц не более сорока долларов (они не предусмотрели того, что предусмотрел их хозяин), Дик отчетливо понял, почему Джон Чайзом сделался «коровьим королем», а сотни его соседей нанимались к нему в качестве сельскохозяйственных рабочих.

Но у Дика был горячий нрав. Его кровь кипела. В нем жила пылкая мужская гордость. Готовый иногда разрыдаться после двадцати часов, проведенных в седле, он сдерживал себя, научился презирать жестокую боль, терзавшую его еще полудетское тело, и молча терпеть, не мечтая о постели, пока закаленные гуртовщики не лягут первыми. С той же терпеливой выдержкой он садился на любую лошадь, какую ему давали, требовал, чтобы и его посылали в ночное, и в развевающимся непромокаемом плаще уверенно мчался наперерез разбегающемуся стаду. Он готов был подвергнуть себя любому риску и любил рисковать, но даже в такие минуты никогда не забывал о трезвой действительности. Дику отлично было известно, что люди – существа весьма хрупкие, они легко гибнут, разбиваясь о камни или затоптанные лошадиными копытами. И если он иной раз отказывался садиться на лошадь, у которой на галопе заплетались ноги, то делал это не из страха, а потому что, как он заявил однажды самому Джону Чайзому, «если уж падать, так хоть за хорошие деньги».

Только отсюда, из этого имения, Дик решил написать своим опекунам. Но и тут был настолько осторожен, что отдал письмо проезжему торговцу скотом из Чикаго и адресовал его на имя повара О-Чая. Хотя Дик и не пользовался своими миллионами, однако всегда о них помнил; опасаясь, как бы его состояние не досталось каким-нибудь отдаленным родственникам, которые могли найтись в Новой Англии, он известил своих опекунов о том, что жив и здоров и через несколько лет непременно вернется домой. Он приказал им также не отпускать миссис Соммерстон и аккуратно выплачивать ей жалованье.

Но ему не сиделось на месте. И наконец он решил, что полгода на ранчо Джингл-Боб – это больше чем достаточно. Тогда Дик стал бродягой и исколесил всю территорию Соединенных Штатов, причем ему довелось познакомиться во время своих скитаний с мировыми судьями, полицейскими чиновниками, законами о бродяжничестве и даже тюрьмами. И он узнал настоящих бродяг, странствующих рабочих и мелких преступников. Кроме того, он знакомился с фермами и фермерами и изучал земледелие, а однажды в штате Нью-Йорк целую неделю работал по сбору ягод у одного фермера-датчанина, который производил эксперименты с первой силосной установкой в Соединенных Штатах. Он учился всему этому не потому, что ставил себе учение как цель: в нем жила огромная, чисто мальчишеская любознательность и интерес решительно ко всему. Благодаря этому он приобрел много сведений о человеческой природе и жизни общества. Эти знания, когда он их впоследствии переварил и систематизировал при помощи книг, сослужили ему неоценимую службу.

Приключения не повредили Дику. Даже когда ему приходилось встречаться с острожниками в их лесных убежищах и узнавать их взгляды на жизнь и нравственность, эти взгляды на него не действовали. Он был точно путешественник среди туземных племен. Уверенный в том, что у него есть двадцать миллионов, он не испытывал желания красть и грабить, – да в этом и не было необходимости. Все на свете интересовало его, но он ни разу не попадал в такое положение или место, в котором хотел бы остаться навсегда. В нем жила жажда видеть все больше, без конца наблюдать действительность.

Прошло три года; ему минуло шестнадцать. Это был крепкий и закаленный подросток, весивший сто тридцать фунтов. Тогда Дик решил, что пора вернуться домой и взяться за книги. Так он совершил свое первое большое морское путешествие, поступив юнгой на судно, которое шло из Делавера в Сан-Франциско, огибая мыс Горн. Это было трудное плавание, оно продолжалось сто восемьдесят дней, но в результате Дик прибавил десять фунтов.

Когда в один прекрасный день он вошел в комнату и направился к миссис Соммерстон, она вскрикнула и послала за поваром О-Чаем: пусть скажет – действительно ли это Дик. Она вскрикнула второй раз, когда протянула ему руку и его огрубевшая от канатов мозолистая ладонь сжала ее нежные пальцы.

Во время первой встречи с опекунами, которые спешно собрались, узнав о его приезде, Дик держался застенчиво, почти конфузился. Но это не помешало ему высказаться вполне определенно.

– Вот как обстоит дело, – начал он. – Я не дурак, знаю, чего хочу; и как я захочу – так и будет. Я совсем один на свете, не считая, конечно, таких добрых друзей, как вы; и у меня есть свои взгляды на жизнь и на то, что я в ней намерен делать. Вернулся я домой вовсе не из чувства долга перед кем-то, а потому что пришло время; скорее – из чувства долга перед самим собой. Три года странствий принесли мне большую пользу, и теперь я хочу продолжать образование – я разумею, уже по книгам.

– Белмонтское училище, – подсказал мистер Слокум, – подготовит вас в университет.

Дик решительно покачал головой:

– И отнимет у меня три года, как и любая средняя школа. Нет, я намерен поступить в Калифорнийский университет не позднее, чем через год. Конечно, придется поработать. Но мозг у меня вроде кислоты: так и въедается в книги. Я возьму себе преподавателей – десяток преподавателей, если понадобится, – и начну готовиться. Нанимать их я буду сам и выгонять – тоже сам. А для этого мне понадобятся деньги.

– Сто долларов в месяц достаточно? – спросил мистер Крокетт.

Дик покачал головой.

– Я странствовал три года и не истратил ни гроша из своего капитала. Надеюсь, я сумею с толком распорядиться его частью здесь, в Сан-Франциско. Я еще не берусь управлять своими делами, но хочу иметь на руках чековую книжку, и на приличную сумму. Деньги я буду тратить на то, что сочту нужным и как сочту нужным.

Опекуны в ужасе переглянулись.

– Это нелепо, это невозможно, – начал мистер Крокетт возмущенно. – Вы такой же сорвиголова, как и до вашего ухода.

– Уж какой есть, – вздохнул Дик. – И та размолвка вышла у нас из-за денег. А ведь тогда я хотел получить всего-навсего сто долларов.

– Но войдите же в наше положение, Дик, – принялся его увещевать мистер Дэвидсон. – Ведь мы ваши опекуны... Что скажут люди, если мы позволим вам, шестнадцатилетнему мальчику, свободно распоряжаться вашими деньгами? – А что стоит теперь моя яхта «Фрида»? – неожиданно спросил Дик.

– Думаю, за нее в любое время дадут тысяч двадцать, – отозвался мистер Крокетт.

– Так продайте ее. Она для меня велика и вдобавок с каждым годом теряет в цене. Мне нужна небольшая яхточка, чтобы я мог сам управлять ею и плавать в нашей бухте, и стоит она должна не больше тысячи. А эту продайте и положите деньги на мое имя. Я знаю ведь, чего вы, все трое, боитесь: что я растрянжирю

свои деньги на кутежи да на лошадей и на певичек. Так я вот что вам предложу: пусть на эти деньги будет иметь право каждый из нас четверых. И в ту минуту, когда кто-либо из вас решит, что я трачу деньги зря, пусть он снимет со счета всю сумму. Могу также вам сообщить, что наряду с преподавателями, которые будут готовить меня в университет, я намерен пригласить специалиста из коммерческого колледжа: пусть научит меня тому, как дельцы ведут дела, пусть вбивает мне в голову всю эту механику.

Дик не стал ждать их согласия и продолжал, как будто это уже было решено:

– А как с лошадьми в Мэнло? Впрочем, я посмотрю их и тогда подумаю, что с ними делать. Миссис Соммерстон останется здесь и будет вести дом и хозяйство. Я и без того буду слишком занят. Вы не раскаетесь, дав мне полную волю в моих личных делах, обещаю. А теперь, если хотите послушать, как я жил эти три года, я вам, пожалуй, расскажу.

Дик Форрест не ошибся, заявив своим опекунам, что его мозг въедается в книги, точно кислота. Никогда еще, кажется, ни один юноша не получал столь необычного образования, – причем он руководил им сам, не отвергая порой и чужих советов. Умению использовать чужие мозги он, видимо, научился у отца и у Джона Чайзома из Джингл-Боба. Там, в степи, он привык подолгу сидеть молча и размышлять, в то время как ковбои вели неторопливую беседу у костра и фургона с продовольствием. Теперь благодаря своему имени и состоянию он легко добивался знакомства и бесед с профессорами, директорами школ, всевозможными специалистами и дельцами; он мог слушать их долгие часы, лишь изредка вставляя слово, почти не спрашивая, а только впитывая в себя то, что они ему рассказывали, – и был доволен, если ему удавалось из этой многочасовой беседы извлечь хотя бы одну мысль, один факт, которые помогли бы ему решить вопрос, какое именно образование ему нужно и как его получить.

Затем он начал выбирать себе преподавателей; и уж тут пошли такие приглашения и увольнения, такие вызовы и отказы, что все только диву давались. Молодой Форрест не стеснялся. С одними Дик занимался месяц, два или три, но с большинством расставался в первый же день или в первую неделю; и неизменно платил в таких случаях за целый месяц вперед, даже если их попытка чему-то научить его продолжалась не более часа. Он всегда был в этих делах щедр и великодушен, – оттого что имел возможность позволить себе щедрость и великодушие.

Этот мальчик, который не раз подбирал объедки после кочегаров, запивая их водой из колонки, узнал на своей шкуре цену деньгам и что покупать самое лучшее в конце концов выгоднее всего. Для поступления в университет надо было прослушать годичный курс физики и химии. Покончив с алгеброй и геометрией, он обратился к видным профессорам физики и химии при Калифорнийском университете. Вначале профессор Кэйри рассмеялся ему в лицо.

– Мой милый мальчик... – сказал он.

Дик терпеливо дал ему высказаться, затем спокойно заявил:

– Поверьте, профессор, что я не дурак. Ученики средней школы и подготовительного училища – просто младенцы. Они жизни не знают. И еще не знают, чего хотят или почему хотят того, чем их напичкали. Я знаю жизнь. Знаю, чего хочу и почему. Они занимаются физикой два часа в неделю в течение двух полугодий, что составляет вместе с каникулами целый год. Вы лучший преподаватель физики на всем Тихоокеанском побережье. Учебный год как раз кончается. Если вы посвятите мне всю первую неделю каникул, каждую минуту вашего времени, я пройду этот годичный курс физики. Во сколько цените вы такую неделю?

– Вы не купите ее и за тысячу долларов, – отозвался профессор Кэйри и решил, что вопрос исчерпан.

– Я знаю размеры вашего жалованья... – начал Дик.

– Ну, и сколько же я, по-вашему, получаю? – резко спросил профессор.

– Во всяком случае, не тысячу долларов в неделю, – так же резко возразил Дик, – и не пятьсот, и не двести пятьдесят... – Он поднял руку, ибо профессор хотел прервать его. – Вы сейчас сказали, что не можете продать мне свою неделю и за тысячу долларов. А я и не собираюсь покупать ее за эту цену. Я вам предлагаю две тысячи. Господи! Ведь жить-то мне считанные годы!..

– А разве годы жизни можно купить? – насмешливо спросил профессор.

– Безусловно можно. Ради этого я здесь. Я покупаю за год три года, и ваша неделя – часть этого года.

– Но я же еще не дал согласия, – заметил профессор Кэйри.

– Может быть, сумма вам кажется недостаточной? – холодно настаивал Дик. – Скажите, какую вы считаете справедливой?

И профессор Кэйри сдался. Так же сдался профессор Барсдейл – самый видный химик в городе.

Своих преподавателей по алгебре и геометрии Дик уже возил охотиться на болота Сакраменто и Сан-Хоакина и провел с ними там больше месяца. Покончив с физикой и химией, он отправился с историком и преподавателем литературы на охоту в округ Карри, в юго-западной части Орегона. Он следовал примеру своего отца: учился и развлекался, жил на свежем воздухе – и в результате прошел без особого напряжения обычный трехлетний курс средней школы в один год. Он стрелял дичь, ловил рыбу, плавал, тренировался и вместе с тем готовился в университет. И он стоял на верном пути. Он мог его избрать потому, что миллионы отца сделали его хозяином жизни. Деньги были для него всегда только средством. Он не умалял, но и не преувеличивал их значения. Он только покупал на них все, что ему было нужно.

– Странная разновидность мотовства, я ничего подобного не встречал! – заметил мистер Крокетт, показывая остальным опекунам представленный Диком годовой отчет. – Шестнадцать тысяч долларов ушло на учение, причем он сюда включил все расходы: стоимость железнодорожных билетов, чаевые, порох и патроны для преподавателей.

– Ну, экзамены он все-таки выдержал, – сказал мистер Слокум.

– Да, и приготовился за один год, – проворчал мистер Дэвидсон. – А мой внук, в то время как Дик начал готовиться, поступил в Белмонтское училище, и дай Бог, если ему через два года удастся добраться до университета.

– Что ж, одно могу сказать, – заявил мистер Крокетт, – отныне, сколько бы мальчик ни потребовал на свои расходы, ему можно доверить какую угодно сумму.

– Теперь я сделаю маленькую передышку, – заявил Дик своим опекунам. – Я опять иду голова в голову со своими сверстниками, а уж насчет знания жизни – им до меня далеко. Я встречал немало мужчин и женщин, я узнал жизнь и видел так много хорошего и дурного, высокого и ничтожного, что сам иногда не верю – неужели это правда? Но я все видел своими глазами.

Отныне я уже не буду спешить. Я догнал других и пойду ровным шагом. Главное – не задерживаясь, переходить с курса на курс. И когда я окончу университет, мне будет всего двадцать один год. На учение денег теперь пойдет гораздо меньше, репетиторы уже не понадобятся, и можно будет тратить больше на развлечения.

Мистер Дэвидсон насторожился:

– А что вы понимаете под словом «развлечения»?

– О, разные там студенческие общества, футбол... Не отставать же мне от других, сами понимаете. Кроме того, меня очень интересуют моторы, работающие на бензине. Я намерен построить первую в мире океанскую яхту с бензиновым двигателем...

– Еще взорветесь, – покачал головой мистер Крокетт. – Все это вздор, все теперь помешались на бензине.

– Нет, не взорвусь, я приму меры, – ответил Дик, – а для этого нужны эксперименты и деньги, и потому я прошу выдать мне новую чековую книжку, на тех же правах, что и раньше.

Глава шестая

В университете Дик Форрест ничем не выделялся, разве только тем, что пропустил на первом курсе больше лекций, чем другие студенты. Но лекции, которые он пропускал, были ему не нужны, и он знал это. Преподаватели, подготавливая его к вступительным экзаменам, прошли с ним вперед также и большую часть первого курса. Между прочим, он организовал футбольную

команду первокурсников, впрочем, такую слабую, что ее побеждали все, кому не лень.

Все же Дик работал, хотя это и не было заметно. Он много читал, и читал с толком; и когда летом он отправился на своей океанской яхте в экскурсию, то пригласил с собой не компанию веселых сверстников, а профессоров литературы, права, истории и философии с их семьями. В университете долго потом вспоминали об этой «ученой» поездке. Профессора, вернувшись, рассказывали, что провели время чрезвычайно приятно. Дик вынес из этого путешествия более широкое представление о ряде научных дисциплин, чем если бы слушал из года в год университетские курсы. А то, что он опять сэкономил на этом время, дало ему возможность по-прежнему пропускать многие лекции и усиленно заниматься в лабораториях.

Не пренебрегал он и чисто студенческими развлечениями. Профессорские вдовы усиленно за ним ухаживали, профессорские дочери влюблялись в него; он был неутомимым танцором, не пропустил ни одного студенческого собрания, ни одной товарищеской пирушки, объехал все побережье с клубом банджо и мандолинистов.

И все-таки он не блистал никакими особыми талантами, ничем среди других не выделялся. Четыре-пять товарищей играли на мандолине и на банджо искуснее его и с десятком танцевали лучше. На втором курсе он помог своей футбольной команде одержать победу, считался хорошим, надежным игроком, но и только. Ему ни разу не удавалось пройти с мячом всю длину поля, хотя он видел, что голубые с золотом лезут из кожи и трибуны неистовствуют. Победу ему удалось одержать лишь в конце мучительно трудного матча, в грязи, под дождем, когда кончался уже второй полутайм, – тогда только голубые с золотом попросили Форреста бить в центр, и бить крепко.

Да, он никогда и ни в чем не достигал совершенства. Верзила Чарли Эверсон всегда мог перепить его. Гаррисон Джексон кидал молот дальше его по меньшей мере на двадцать футов. Каррузерс побеждал его в боксе. Энсон Бардж клал его на обе лопатки два раза из трех – правда, с большим трудом. В английском сочинении пятая часть курса была сильнее его. Эдлин, русский еврей, победил его в диспуте на тему: «Собственность есть кража». Шульц и Дебрэ опередили его и весь курс в высшей математике, а японец Отсуки несравненно лучше усваивал химию.

Но если Дик Форрест ничем не выделялся, то он ни в чем и не отставал от товарищей. Не обладая особой силой, он никогда не выказывал слабости или неуверенности. Однажды Дик заявил своим опекунам, восхищенным его неизменным прилежанием и благонаравием и возмечтавшим, что его ждет великое будущее:

– Ничего особенного я не достигну. Буду просто всесторонне образованным человеком. Мне ведь и незачем быть специалистом. Оставив мне деньги, отец освободил меня от этой необходимости. Да я и не мог бы стать специалистом, даже если бы захотел. Это не по мне!

Итак, строй его ума был столь ясен, что определял весь строй его жизни. Он ничем чрезмерно не увлекался. Это был редкий образец среднего, нормального, уравновешенного и всесторонне развитого человека.

Когда мистер Дэвидсон в присутствии своих коллег высказал удовольствие по поводу того, что Дик, вернувшись домой, больше не совершает никаких безрассудств, Дик ответил:

– О, я могу держать себя в руках, если захочу.

– Да, – торжественно отозвался мистер Слокум. – Это вышло очень удачно, что вы так рано перебесились и умеете владеть собой.

Дик хитро посмотрел на него.

– Ну, – сказал он, – это детское приключение не в счет. Я еще и не начинал беситься. Вот увидите, что будет, когда я начну! Знаете вы киплинговскую «Песнь Диего Вальдеса»? Если позволите, я вам кое-что процитирую из нее. Дело в том, что Диего Вальдес получил, как и я, большое наследство. Ему предстояло сделаться верховным адмиралом Испании – и некогда было беситься. Он был силен и молод, но слишком торопился стать взрослым, – безумец воображал, что сила и молодость останутся при нем навсегда и что, лишь сделавшись адмиралом, он получит право наслаждаться радостями жизни. И всегда он потом вспоминал:

На юге, на юге, за тысячи миль,

Друг с другом мы там побратались,
Мы жемчуг скупали у островитян,
Годами по морю шатались.

Каких тогда не было в мире чудес!

В какие мы плавали дали!

В те дни был неведом великий Вальдес,

Но все моряки меня знали.

Когда в тайниках попадалось вино,

Мы вместе вино это пили,

А если добыча в пути нас ждала,

Добычу по-братски делили.

Мы прятали меж островов корабли,

Уйдя от коварной погони,

На перекатах и мелях гребли, —

К веслу прикипали ладони.

Мы днища смолили, костры разведя,

В огне обжигали мы кили,

На мачтах вздымали простреленный флаг

И снова в поход уходили.

Как в белые гребни бушующих вод

Врезается якорь с размаха,

Так мы, капитаны, вперед и вперед

Летели, не ведая страха!

О, где мы снимали и шпагу и шлем?

В каких пировали тавернах?

Где наших нежданных набегов гроза?

Удары клинков наших верных?

О, в знойной пустыне холодный родник!

О, хлеба последняя корка!

О, буйного ястреба яростный крик!

О, смерть, стерегущая зорко!

Как девушки грезят и ждут жениха,

Тоскуют по прошлому вдовы,

Как узник на синее небо в окно

Глядит, проклиная оковы, —

Так сетую я, поседевший моряк:

Все снятся мне юг и лагуны,

Былые походы, простреленный флаг

И сам я – отважный и юный!

Вы, трое почтенных людей, поймите его, поймите так, как понял я! Послушайте, что он говорит дальше:

Я думал – и сила, и радость, и хмель

С годами взыграют все краше,

Увы, я бесславно весну упустил,

Я выплеснул брагу из чаши!

Увы, по решенью коварных небес

Отмечен я жребием черным, —

Я, вольный бродяга Диего Вальдес,

Зовусь адмиралом верховным!

– Слушайте, опекуны мои! – вскричал Дик, и лицо его запылало. – Не забывайте ни на миг, что жажда моя вовсе не утолена. Нет, я весь горю. Но я сдерживаюсь. Не воображайте, что я ледышка, только потому, что веду себя, как полагается пай-мальчику, пока он учится. Я молод. Жизнь во мне кипит. Я полон непечатых сил. Но я не повторю ошибки, которую делают другие. Я держу себя в руках. Я не накинусь на первую попавшуюся приманку. А пока я готовлюсь. Но своего не упущу. И не расплескаю чаши, а выпью ее до дна. Я не собираюсь, как Диего Вальдес, оплакивать упущенную молодость:

О, если б по-прежнему ветер подул,

По-прежнему волны вскипели,

Смолили бы днища друзья вокруг костров

И песни разгульные пели!

О, в знойной пустыне холодный родник!

О, хлеба последняя корка!

О, буйного ястреба яростный крик!

О, смерть, стерегущая зорко![1 - Перевод Н. Банникова.]

Слушайте, опекуны мои! Знаете вы, каково это – ударить врага, дать ему по челюсти и видеть, как он падает, холодея? Вот каких чувств я хочу. И я хочу любить, и целовать, и безумствовать в избытке молодости и сил. Я хочу изведать счастье и разгул в молодые годы, но не теперь, – я еще слишком юн. А пока я учусь и играю в футбол, готовлюсь к той минуте, когда смогу дать себе волю, – и уж тут я возьму свое! И не промахнусь! О, поверьте мне, я не всегда сплю спокойно по ночам!

– То есть? – испуганно спросил мистер Крокетт.

– Вот именно. Я как раз об этом и говорю. Я еще держу себя в узде, я еще не начал, но если начну, тогда берегитесь...

– А вы «начнете», когда окончите университет?

Странный юноша покачал головой.

– После университета я поступлю по крайней мере на год в сельскохозяйственный институт. У меня, видите ли, появился конек – это сельское хозяйство. Мне хочется... хочется что-нибудь создать. Мой отец наживал, но ничего не создал. И вы все тоже. Вы захватили новую страну и только собирали денежки, как матросы вытряхивают самородки из мха, наткнувшись на девственную россыпь...

– Я, кажется, кое-что смыслю, дружок, в сельском хозяйстве Калифорнии, – обиженным тоном прервал его мистер Крокетт.

– Наверное, смыслите, но вы ничего не создали, вы – что поделаешь, факты остаются фактами, – вы... скорее разрушали. Вы были удачливыми фермерами. Ведь как вы действовали? Брала, например, в долине реки Сакраменто сорок тысяч акров лучшей, роскошнейшей земли и сеяли на ней из года в год пшеницу. О многопольной системе вы и понятия не имели. Вы понятия не имели, что такое севооборот. Солому жгли. Чернозем истощали. Вы вспахивали землю на глубину каких-нибудь четырех дюймов и оставляли нетронутым лежащий под ними грунт, жесткий, как камень. Вы истощили этот тонкий слой в четыре дюйма, а теперь не можете даже собрать с него на семена.

Да, вы разрушали. Так делал мой отец, так делали все. А я вот возьму отцовские деньги и буду на них созидать. Накуплю этой истощенной пшеницей земли, – ее можно приобрести за бесценок, – всю переверошу и буду в конце концов получать с нее больше, чем получали вы, когда только что взялись за нее!

Приблизилось время окончания курса, и мистер Крокетт вспомнил об испугавшем опекунов намерении Дика начать «беситься».

– Теперь уже скоро, – последовал ответ, – вот только окончу сельскохозяйственный институт; тогда я куплю землю, скот, инвентарь и создам поместье, настоящее поместье. А потом уеду. И уж тут держись!

– А какой величины имение хотите вы приобрести для начала? – спросил мистер Дэвидсон.

– Может быть, в пятьдесят тысяч акров, а может быть, и в пятьсот тысяч, как выйдет. Я хочу добиться максимальной выгоды. Калифорния – это, в сущности, еще не заселенная страна. Земля, которая идет сейчас по десять долларов за акр, будет стоить через пятнадцать лет не меньше пятидесяти, а та, которую я куплю по пятьдесят, будет стоить пятьсот, и я для этого пальцем не пошевелю.

– Но ведь полмиллиона акров по десять долларов – это пять миллионов, – с тревогой заметил мистер Крокетт.

– А по пятьдесят – так и все двадцать пять, – рассмеялся Дик.

Опекуны в душе не верили в его обещанные безумства. Конечно, он может потерять часть своего состояния, вводя все эти сельскохозяйственные новшества, но чтобы он мог закутить после стольких лет воздержания, казалось им просто невероятным.

Дик окончил курс без всякого блеска. Он был двадцать восьмым и ничем не поразил университетский мир. Его главной заслугой оказалась та стойкость, с какой он выдерживал осаду очень многих милых девиц и их мамаш, и та победа, которую он помог одержать футбольной команде своего университета над стэнфордцами, – впервые за пять лет. Это происходило в те времена, когда о высокооплачиваемых инструкторах еще и не слыхали и особенно ценились хорошие игроки. Но для Дика на первом плане стояли интересы всей команды, поэтому в Благодарственный день голубые с золотом торжественно шествовали по всему Сан-Франциско, празднуя свою славную победу над гораздо более сильными стэнфордцами.

В сельскохозяйственном институте Дик совсем не посещал лекций и весь отдался лабораторной работе. Он приглашал преподавателей к себе и истратил пропасть денег на них и на разъезды с ними по Калифорнии.

Жак Рибо, считавшийся одним из мировых авторитетов по агрономической химии и получавший во Франции две тысячи долларов в год, перебрался в

Калифорнийский университет, прельстившись окладом в шесть тысяч; потом перешел на службу к владельцам сахарных плантаций на Гавайских островах на десять тысяч; и наконец соблазненный пятнадцатью тысячами, которые ему предложил Дик Форрест, и перспективой жить в более умеренном и приятном климате Калифорнии, заключил с ним контракт на пять лет.

Господа Крокетт, Слокум и Дэвидсон в ужасе воздели руки, решив, что это и есть обещанное Диком безрассудство.

Но это было только своего рода повторение пройденного. Дик переманил к себе с помощью чудовищного оклада лучшего специалиста по скотоводству, состоявшего на службе у правительства, таким же предосудительным образом отнял у университета штата Небраска прославленного специалиста по молочному хозяйству и наконец нанес удар декану сельскохозяйственного института при Калифорнийском университете, отняв у него профессора Нирденхаммера, мага и волшебника в вопросах фермерского хозяйства.

– Дешево, поверьте мне, дешево, – уверял Дик своих опекунов. – Неужели вам было бы приятнее, если бы я вместо профессоров покупал лошадей и актрис? Вся беда в том, что вы, господа, не понимаете, как это выгодно – покупать чужие мозги. А я понимаю. Это моя специальность. И я буду на этом зарабатывать деньги, а главное – у меня вырастет десять колосьев там, где у вас и одного бы не выросло, ибо свою землю вы ограбили.

После этого опекунам, конечно, трудно было поверить, что он пустится во всякие авантюры, будет «рисковать и целовать», а мужчинам давать в зубы.

– Еще год... – предупреждал он их, погруженный в книги по агрономической химии, почвоведению и сельскому хозяйству и занятый постоянными разъездами по Калифорнии со всей своей свитой высокооплачиваемых экспертов.

Опекуны боялись только, что, когда Дик достигнет совершеннолетия и сам будет распоряжаться своим состоянием, отцовские миллионы быстро начнут таять, уходя на всякие нелепые сельскохозяйственные затеи.

Как раз в день, когда ему исполнился двадцать один год, была совершена купчая на огромное ранчо; оно простиралось к западу от реки Сакраменто вплоть до вершин тянувшейся там горной цепи.

– Невероятно дорого, – сказал мистер Крокетт.

– Наоборот, невероятно дешево, – возразил Дик. – Вы бы видели, какие я получил сведения о качестве почвы! И об источниках! Послушайте, опекуны мои, что я вам спою! Я сам и песня и певец!

И он запел тем своеобразным вибрирующим фальцетом, каким обычно поют североамериканские индейцы, эскимосы и монголы:

Ху-тим йо-ким кой-о-ди!

Уи-хи йан-нинг кой-о-ди!

Ло-хи йан-нинг кой-о-ди!

Ио-хо най-ни, хал-ю-дом йо най, йо-хо, най-ним!

– Ну, музыка моего сочинения, – смущенно пробормотал он, – я пою так, как, мне кажется, эта песня должна была звучать. Видите ли, нет ни одного человека, который бы слышал, как ее поют. Нишинамы получили ее от майду, а те от канкау, которые и сочинили ее. Но все эти племена вымерли. А уголья их остались. Вы истожили эти земли, мистер Крокетт, вашей хищнической системой земледелия. Песню эту я нашел в одном этнологическом отчете, помещенном в третьем томе «Обзора географии и геологии Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов». Вождь по имени Багряное Облако, сошедший с неба в первое утро мира, спел эту песню звездам и горным цветам. А теперь я спою ее вам по-английски.

Он опять запел фальцетом, подражая индейцам, и голос его был полон весеннего, ликующего торжества; он хлопал себя по бедрам и притопывал в такт песне. Дик пел:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Я расту, я – желудь темного дуба, я даю ростки!

Имя Дика Форреста все чаще упоминалось в газетах. Он сразу стал знаменит, ибо первый в Калифорнии заплатил за одного производителя пять тысяч гиней. Его специалист-скотовод, которого ему удалось сманить у правительства, перебил у английских Ротшильдов и приобрел для фермы Форреста великолепное животное, вскоре ставшее известным под именем Каприз Форреста.

– Пусть смеются, – говорил Дик своим опекунам. – Я выписал сорок маток. В первый же год этот бык вернет мне половину своей стоимости. Он станет отцом, дедом и прадедом целого потомства, и калифорнийцы будут отрывать у меня с руками его детей и внуков по три и даже по пять тысяч долларов за голову.

В эти первые месяцы своего совершеннолетия Дик Форрест натворил еще ряд таких же безрассудств. Но самым непостижимым оказалось последнее, когда он, вложив столько миллионов в свои сельскохозяйственные предприятия, вдруг передал все дело специалистам, поручив им вести и развивать его дальше по намеченному плану, установил между ними взаимный надзор, чтобы они не слишком зарывались, а затем купил себе билет на остров Таити и уехал, чтобы пожить как ему вздумается.

Изредка до опекунов доходили вести о нем. Он вдруг оказался владельцем и капитаном четырехмачтового угольщика, который шел под английским флагом и вез уголь из Ньюкасла. Они узнали об этом потому, что им пришлось заплатить за покупку судна, а также потому, что имя Форреста, хозяина судна, было упомянуто в газетах в связи с тем, что он спас жизнь пассажирам с потерпевшего кораблекрушение «Ориона»; кроме того, они же получили страховку, когда судно Форреста погибло почти со всей командой во время свирепого урагана у берегов островов Фиджи. В 1896 году он оказался на Клондайке. В 1897 году – на Камчатке, где заболел цингой. Затем неожиданно появился под американским флагом на Филиппинах. Однажды – они так и не узнали, как и почему, – он стал владельцем обветшавшего пассажирского парохода, давно вычеркнутого из списков Ллойда и теперь плававшего под флагом Сиама.

Время от времени между ними и Форрестом завязывалась деловая переписка, – он писал им из многих сказочных гаваней сказочных морей. Был и такой случай, когда им пришлось ходатайствовать перед правительством штата, чтобы оно оказало давление на Вашингтон и вызволило Дика из какой-то запутанной истории в России, впрочем, о ней в печать не проникло ни одной строчки, но она

вызвала злорадное ликование во всех европейских министерствах.

Потом они случайно узнали, что он лежит раненый в Мэйфкинге; потом, что он перенес в Гваякиле желтую лихорадку и что его судили в Нью-Йорке за безжалостное обращение с матросами в открытом море. Газеты трижды печатали извещение о его смерти: один раз он будто бы умер, сражаясь в Мексике, и два раза – казнен в Венесуэле. После всех этих ложных слухов и тревог опекуны решили больше не волноваться; они уже спокойно принимали вести и о том, что он будто бы переплыл Желтое море на сампане, и что он умер от бери-бери, и что в числе русских военнопленных взят японцами под Мукденом и теперь находится в японской военной тюрьме...

Только раз еще вызвал он их волнение, когда, верный своему обещанию, нагулявшись по свету, вернулся домой и привез с собой жену. Ему было тогда тридцать лет, он женился на ней, по его словам, несколько лет назад и, как потом оказалось, все три опекуна знали ее раньше. Ее отец потерял все свое состояние после нашествившей катастрофы в рудниках Лос-Кокос в Чихуахуа, когда правительство изъяло серебро из обращения. Мистер Слокум тоже потерял тогда восемьсот тысяч. Мистер Дэвидсон выкачал миллион из «Последней заявки» – высохшего русла реки в Амадорском округе, а отец ее – восемь миллионов. Мистер Крокетт еще юношей «выскребал» с ее отцом дно реки Мерсед, был его шафером, когда он женился на ее матери, и в Грантс-Пассе играл в покер с ним и с лейтенантом Грантом: запад знал тогда об этом человеке лишь то, что он успешно сражается с индейцами и очень плохо играет в покер.

А теперь Дик Форрест женился на дочери Филиппа Дестена! Тут нечего было желать ему счастья. Тут можно было, наоборот, только доказывать, что он еще не понимает, какое счастье ему послала судьба. Опекуны простили Дику все его грехи и безрассудства. Женился он удачно и наконец-то поступил вполне благоразумно. Мало того, он поступил гениально. Паола Дестен! Дочь Филиппа Дестена! Кровь Дестенов! Союз Дестенов и Форрестов! Это искупало все! И престарелые товарищи Форреста и Дестена, некогда пережившие с ними, теперь уже ушедшими, золотые дни прошлого, заговорили с Диком даже сурово. Они напомнили ему о высокой ценности доставшегося ему сокровища, об обязательствах, которые на него накладывает такой брак, и обо всех прекрасных традициях и добродетелях Дестенов и Форрестов; они наговорили ему столько, что в конце концов Дик рассмеялся и прервал их, заявив, что они рассуждают, как коннозаводчики или чудаки, помешанные на евгенике. И это

была чистейшая правда, хотя им такое заявление и не доставило удовольствия.

Достаточно было того, что он женился на девушке из рода Дестенов, и они одобрили и план Большого дома и все связанные с этим сметы. Благодаря Паоле Дестен они на этот раз признали, что его траты благоразумны и целесообразны. Что же до его сельскохозяйственных затей, то, поскольку рудники «Группы Харвест» процветают, – пусть забавляется! Он имел полное право разрешить себе кое-какие причуды.

Все же мистер Слокум заявил:

– Платить двадцать пять тысяч за рабочего жеребца – это безумие. Потому что рабочая лошадь – это рабочая лошадь. Я еще понимаю, если бы вы купили скакового жеребца...

Глава седьмая

В то время как Дик Форрест просматривал выпущенную штатом Айова брошюру о свиной холере, с дальнего конца двора в открытое окно стали доноситься звуки, говорившие о пробуждении той, которая смеялась в рамке над его постелью и всего лишь несколько часов тому назад оставила на полу его спальни свой розовый кружевной чепчик, подобранный заботливым слугой.

Дик слышал ее голос, ибо просыпалась она с песней, точно птичка. Она пела, и ее звонкие трели вырывались то из одного, то из другого окна и звучали по всему ее длинному флигелю. Он услышал затем ее голос в садике посреди двора, но она вдруг прекратила пение, чтобы побранить своего щенка-колли, соблазнившегося мелькавшими в бассейне фонтана японскими оранжево-красными веерохвостками с пестрыми плавниками.

Форрест обрадовался пробуждению жены; это удовольствие было для него всегда новым, и хотя он сам вставал много раньше, Большой дом казался ему не совсем проснувшимся, пока через двор не доносилась утренняя песнь Паолы.

Но, испытав радость от ее пробуждения, Дик, как обычно, тут же забыл о жене, – его поглотили дела. Он снова погрузился в цифровые данные о вспышке свиной холеры в Айове, и Паола исчезла из его сознания.

– С добрым утром, веселый Дик! – приветствовал его через некоторое время всегда сладостный для его слуха голос, и Паола впорхнула к нему в легком утреннем кимоно, стройная и живая, обвила его шею рукой и уселась на услужливо подставленное им колено. Форрест прижал ее к себе, показывая, что весьма дорожит ее присутствием и близостью, хотя его взгляд еще с полминуты не отрывался от выводов, сделанных профессором Кенили относительно свиной холеры и опытов, произведенных на ферме Саймона Джонса в Вашингтоне, штат Айова.

– Вот вы как! – возмутилась она. – Вам слишком везет, сударь! Вы пресытились счастьем! К вам пришла ваша жена, ваш мальчик, ваша «маленькая гордая луна», а вы ей даже не сказали: «С добрым утром, милый мальчик, был ли ваш сон тих и сладок?»

Дик оторвался от цифр, приведенных профессором Кенили, крепко прижал к себе жену, поцеловал ее, но указательным пальцем правой руки упорно придерживал нужное место в брошюре.

Однако после ее слов он уже не спросил, как хотел раньше, хорошо ли она спала после того, как оставила свой чепчик возле его постели. Он захлопнул брошюру, продолжая придерживать пальцем страницу, и обеими руками обнял Паолу.

– О! О! Послушай! – закричала она вдруг. – Слышишь? В открытые окна доносились певучие зовы перепелов.

Затрепетав, она прижалась к нему, – ее радовали эти мелодичные звуки.

– Начинается токование, – сказал он.

– Значит, весна! – воскликнула Паола.

– И знак, что будет хорошая погода.

– И любовь!

– Да, и птицы будут вить гнезда, нести яйца, – засмеялся Дик.

– Никогда я так не чувствовал плодородия мира, как сегодня, – продолжал он. – Леди Айлтон принесла одиннадцать поросят. Ангорских коз тоже сегодня пригнали с гор, им пора котиться. Ты бы видела их! И дикие канарейки Бог знает сколько времени обсуждают во дворе свои брачные дела: можно подумать, что какой-нибудь поклонник свободной любви пытается разрушить их мирное единобрачие, проповедуя всякие модные теории. Удивительно, как это их диспуты не мешали тебе спать. Вот они начали снова... Что они – выражают сочувствие или бунтуют?

Опять послышалось трепетное, тонкое щебетание канареек, но взволнованное и переходящее в пронзительный писк. Паола и Дик слушали их с восхищением, как вдруг в этот хор крошечных золотистых любовников, с внезапностью судьбы, мгновенно заглушив его и поглотив, ворвался другой звук, не менее дикий, певучий и страстный, но потрясающий своей мощью и широтой.

Мужчина и женщина тотчас устремили жадные взоры через застекленные двери на дорожку, обсаженную сиренью, и, затаив дыхание, ждали, когда на ней появится огромный жеребец, – ибо это он трубил свой любовный призыв. Все еще невидимый, он затрубил вторично, и Дик сказал:

– Я спою тебе песню, моя гордая луна. Не я сложил ее. Это песнь нашего Горца. Это он ее трубит. Слышишь, опять! И вот что он поет: «Внемлите мне! Я – Эрос. Я попираю холмы, моим голосом полны широкие долины. Кобылицы на мирных пастбищах слышат меня и вздрагивают, ибо они знают мой голос. Травы становятся все пышнее и выше, земля жирна, и деревья полны соков. Это весна. Весна – моя. Я царь в моем царстве весны. Кобылицы помнят мой голос, ведь он жил до них в крови их матерей. Внемлите мне! Я – Эрос. Я попираю холмы; и, словно герольды, долины разносят мое ржание, возвещая мой приход».

Паола теснее прижалась к мужу, и он крепче обнял ее; она коснулась губами его лба. Оба смотрели на дорогу, на которой вдруг, как величественное и прекрасное видение, появился Горец. Сидевший на его спине человек казался до смешного маленьким; глаза Горца, подернутые, как обычно у породистых жеребцов, синеватым блеском, горели страстью; он то опускал голову и, роняя

пену, терся вздрагивавшими от волнения губами о шелковистые колени, то закидывал ее и, сотрясая воздух, бросал в небо свой властный призыв.

И, почти как эхо, издалека донеслось в ответ певучее, нежное ржание.

- Это Принцесса, - прошептала Паола.

Снова Горец протрубил свой призыв, и Дик, вторя ему, запел:

Внемлите мне! Я - Эрос! Я попираю холмы...

И вдруг Паола, сжатая кольцом его ласковых рук, ощутила вспышку ревности к великолепному животному, которым он так любовался. Но вспышка тут же погасла, и, чувствуя себя виноватой, она весело воскликнула:

- А теперь, Багряное Облако, спой про желудь!

Дик, уже снова увлеченный брошюрой, рассеянно посмотрел на Паолу, затем опомнился и с тем же веселым азартом запел:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Я расту, я - желудь темного дуба,

Я расту, расту!

Пока он пел, Паола сидела, крепко прижавшись к нему, но когда он кончил, почувствовала нетерпеливое движение его руки, все еще державшей брошюру о свиньях, и заметила быстрый взгляд, невольно скользнувший по циферблату часов на письменном столе: они показывали 11.25. И снова она попыталась удержать его, и опять в ее словах невольно прозвучал мягкий упрек.

- Ты странное, удивительное создание, Багряное Облако, - медленно проговорила она. - Иногда мне кажется, что ты в самом деле Багряное Облако - сажаешь свои желуди, а потом славишь первобытную радость труда. А иногда

ты представляешь мне ультрасовременным человеком, последним словом в царстве двуногих, мужчиной, для которого статистические таблицы – это целая Троянская война, вооруженным пробирками и шприцами, при помощи которых он, как гладиатор, борется с разными таинственными микроорганизмами. Минутами я готова даже признать, что тебе следовало бы носить очки, обзавестись лысиной и что...

– И что я при своей дряхлости уже не имею права держать в объятиях женщину, – закончил он, обнимая ее еще крепче. – И что я всего-навсего дурацкая ученая обезьяна и не заслужил это «легкое облачко нежно-розовой пыльцы». Слушай, у меня есть план. Через несколько дней...

Но он так и не досказал, в чем состоит его план: за их спиной раздалось сдержанное покашливание, и, повернув одновременно головы, они увидели Бонбрайта, помощника секретаря, с пачкой желтых листков в руке.

– Четыре телеграммы, – сказал он смущенно. – И мистер Блэйк находит, что две из них очень важные. Одна по поводу отправки быков в Чили...

Паола медленно соскользнула с колен мужа и стала на ноги: она почувствовала, что он опять уходит от нее, возвращается к этим статистическим таблицам, накладным, секретарям и управляющим.

– Эй, Паола, – крикнул Дик, когда она была уже в дверях. – Я дал имя новому бою, он будет называться О-Хо. Тебе нравится?

В ее ответе прозвучали нотки уныния, но она тут же улыбнулась:

– Вечно ты играешь именами наших боев... Если продолжать в этом духе, тебе скоро придется называть их: «О-Кот», «О-Конь», «О-Бык».

– Зато я никогда не позволю себе этого по отношению к моему племенному скоту, – ответил он торжественно, хотя лукавый блеск его глаз говорил, что он шутит.

– Я не то хотела сказать, – возразила она. – Но ведь у языка ограниченные возможности. Зря у тебя все начинается с «О».

Они оба весело рассмеялись. Паола исчезла, а через секунду Форрест, вскрыв телеграмму, погрузился в подробности отправки на скотоводческое ранчо в Чили трехсот годовалых племенных быков, по двести пятьдесят долларов каждый, франко-пароход. Все же пение Паолы, уходившей через двор в свой флигель, доставило ему, как всегда, удовольствие, – он и не заметил, что ее голос чуть-чуть менее весел, чем обычно.

Глава восьмая

Ровно через пять минут после того как ушла Паола, Дик покончил с телеграммами, вышел и сел в машину.

С ним вместе сели Тэйер, покупатель из Айдахо, и Нэйсмит, корреспондент «Газеты скотовода». Уордмен, заведующий овцеводством, присоединился к ним возле большого загона, где было собрано несколько тысяч молодых шропширских баранов, подлежащих осмотру.

Форрест молчал, считая, что разговаривать особенно не о чем, и Тэйер был этим явно огорчен, так как ему казалось, что о покупке десяти вагонов дорогого скота не мешало бы и потолковать.

– Да ведь они сами за себя говорят, – успокоил его Дик и повернулся к Нэйсмицу, чтобы сообщить ему некоторые данные для его статьи о разведении шропширской породы в Калифорнии и на северо-западе.

– Я бы вам не советовал возиться с отбором, – обратился Дик через несколько минут к Тэйеру. – Они все одинаково хороши, даже «самые лучшие». Вы можете целую неделю отбирать свои десять вагонов, и они будут такие же, как если бы вы брали подряд.

Спокойная уверенность Форреста в том, что сделка уже состоялась, и совершенно очевидный для Тэйера факт, что таких баранов он еще не видел, заставили его решиться, и он вместо десяти вагонов заказал двадцать.

Когда они вернулись в дом, Тэйер, доигрывая с Нэйсмитом партию на бильярде, прерванную осмотром баранов, сказал своему партнеру:

– Я первый раз у Форреста. Он волшебник. Я много раз покупал и ввозил скот из Восточных штатов, но эти бараны пленили меня. Вы заметили, что я удвоил заказ? Мои клиенты в Айдахо прямо с ума сойдут от них. Мне было поручено закупить, говоря по совести, только шесть вагонов и прибавить еще два – по моему усмотрению. Но если каждый покупатель не удвоит своего заказа, увидев этих баранов, и если за оставшихся не поднимется форменная драка, то я в скоте ничего не понимаю. Они превосходны. И если эти бараны не вызовут переворота в Айдахо, значит, я не купец, а Форрест не скотовод.

Когда, призывая к завтраку, зазвонил большой бронзовый гонг, купленный Форрестом в Корее (в него били, только если было известно, что Паола не спит), Дик вышел в большой внутренний двор и присоединился к молодежи, собравшейся около фонтана с золотыми рыбками. Берт Уэйнрайт, покорно следуя указаниям своей сестры Риты, а также Паолы и ее сестер, Льют и Эрнестины, пытался выловить сачком из бассейна необыкновенно красивую рыбку, похожую на золотистый цветок; ее размеры и цвет, а также плавники и хвост пленили Паолу, и она решила отсадить ее в особый бассейн в своем собственном внутреннем дворике.

Под оживленный смех, визг и споры редкостная рыба была наконец изловлена, посажена в банку и отдана итальянцу садовнику, который ее и унес.

– Ну, что ты можешь сказать в свое оправдание? – задорно спросила Эрнестина, когда Дик подошел к ним.

– Ничего, – ответил он уныло. – Имение пустеет. Завтра триста восхитительных молодых бычков отбывают в Южную Америку, а Тэйер – вы видели его вчера вечером – увозит с собой двадцать вагонов баранов. Одно могу сказать: я поздравляю Айдахо и Чили с таким приобретением.

– Сажай побольше желудей, – рассмеялась Паола; она стояла, обняв своих двух сестер, и все три казались улыбающимися грациями.

– О, Дик, спой твою песню про желудь, – попросила Льют.

Он покачал головой:

– Я знаю теперь песню, которая еще лучше. Но только она в божественном плане. Что в сравнении с ней и Багряное Облако и его песня! Слушайте! Маленькая девочка из беднейших кварталов Нью-Йорка первый раз попадает за город вместе со своей воскресной школой. Она совсем маленькая. Обратите особое внимание на то, как она картавит:

В плуду иглают жолотые лыбки,

И волобей чиликает на ветке.

Кто научил их плавать и чиликать?

Кто птичкам лазукласил глудь?

Господь, Господь – он это сделал!

– Украдено, – заявила Эрнестина, когда смех наконец умолк.

– Конечно, – согласился Дик. – Я нашел ее в «Фермере и скотоводе», а эта газета перепечатала песенку из «Журнала свиновода», который взял ее у «Западного юриста», а «Западный юрист» взял ее из «Голоса общества», «Голос общества», бесспорно, получил ее от самой девочки или, вернее, от учителя воскресной школы. А поэтому, мне кажется, она должна была быть впервые напечатана в журнале «Наши бессловесные животные».

Звуки гонга раздались вторично, и Паола, обняв одной рукой Риту, другой Форреста, направилась в дом, а Берт, шедший позади с Льют и Эрнестиной, показывал им на ходу новые па танго.

– Еще одно, Тэйер, – сказал Дик вполголоса, освободившись от дам, которые, встретив на лестнице в столовую уже поджидавших их Тэйера и Нэйсмита, поспешили вниз. – Прежде чем уехать, взгляните на мериносов. Я действительно могу похвастаться ими, и нашим американским овцеводам придется с ними ознакомиться. Начал я, конечно, с привозным скотом, но теперь добился особого калифорнийского вида. Французы прямо с ума сойдут. Возьмите-ка пяток в свой товарный поезд, и пусть ваши скотоводы полюбуются.

Они сели за стол, который, видимо, можно было раздвигать до бесконечности. Длинная и низкая столовая была точной копией со столовых мексиканских земельных королей старой Калифорнии. Пол состоял из больших коричневых плит, балки потолка и стены были выбелены, а огромный камин без всяких украшений мог служить образцом массивности и простоты. В окна с глубокими амбразурами видны были деревья и цветы, и вся комната производила впечатление строгости, чистоты и свежести.

Стены украшало несколько картин, писанных масляными красками; на почетном месте висела работа Ксавье Мартинеса, в печальных, сумеречных тонах: на ней был изображен пеон, проводивший борозду по бесконечной и унылой мексиканской равнине с помощью первобытной деревянной сохи и запряженных в нее двух волов. Здесь же висели и более красочные полотна из прежней мексикано-калифорнийской жизни: пастель Реймерса, с тонущими в сумерках эвкалиптами и далекой, тронутой закатом вершиной, пейзаж «При лунном свете» Петерса и «Летний день» Гриффина, где на первом плане желтело жнивье, а вдали тянулись мягкие, туманные очертания Калифорнийских гор с коричневатыми лесистыми ущельями, подернутыми лиловой дымкой.

– Знаете что, – вполголоса обратился Тэйер к сидевшему рядом с ним Нэйсмиту, в то время как Дик острил и шутил с девицами, – вот вам богатый материал, если вы будете писать о Большом доме. Я видел столовую для прислуги.

Там за стол садятся, считая садовников, шоферов и поденщиков, не меньше сорока человек. Настоящая гостиница. Чтобы все это наладить, нужна система, нужна голова. Поверьте мне, этот их китаец О-Пой – прямо маг и волшебник; он не то дворецкий, не то домоправитель. И вся жизнь в этом заведении – уж не знаю, как и назвать его, – идет без сучка, без задоринки.

– Маг и волшебник сам Форрест, – сказал Нэйсмит. – Он умеет выбирать людей, у него светлая голова. Он мог бы командовать целой армией, править государством и даже... заведовать цирком с тремя аренами.

– Вот это действительно комплимент! – рассмеялся Тэйер.

– Знаешь, Паола, – обратился Дик через стол к жене, – я сейчас получил известие, что завтра утром здесь будет Грэхем. Скажи О-Пою, пусть поместит его в сторожевой башне. Там просторно, и, может быть, Грэхем выполнит свою

угрозу и начнет работать над книгой.

- Грэхем... Грэхем... - стала припоминать Паола. - Я его знаю или нет?

- Ты встретила с ним раз, два года назад, в Сантьяго, в кафе «Венера». Он тогда обедал с нами.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Перевод Н. Банникова.

Купить: <https://tellnovel.com/dzhek-london/malen-kaya-hozyayka-bol-shogo-doma>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)